Отец и сын

Автор:
Юрий Вылегжанин

Отец и сын

Юрий Павлович Вылегжанин

Более 300 лет назад, летом 1718 года окончил жизнь свою старший сын Петра I Алексей. С детства росший в тени своего отца, он так и не захотел стать его приемником. Напротив: властолюбие заставило его предать родителя, а слабость воли не дала сил оборонить тех, кто ему поверил. Однако, даже такая жизнь его – все же часть истории наших предков, которые по образному выражению М.Н. Карамзина: «страдали и своими бедствиями изготовили наше величие».

Юрий Вылегжанин

Отец и сын

Пролог

в нем сюжет хотя и не начинается, так как это бывает обыкновенно, но в ней автор с возможной для него красноречивостью пытается показать серьезность своих намерений.

1

Какое-нито проявление словесности, сиречь, к примеру, повесть, некоторые находят возможным сравнивать с водным потоком. Но ведь он почти всегда начинается с родничка, текущего в тени какого-нибудь маленького овражка. И уж, конечно, по начальной этой воде ни за что не догадаться, что в устье она течет широкою и полноводною рекою.

Посему и повесть сия начало свое берет с обычной картины, по которой далеко еще нельзя судить, какие страсти закипят на ее страницах, когда сюжет развернется во всей силе своей, и, тем более, – чем завершится все действо.

2

Тридцатого июня 1715 года царь Петр пребывал в отличном расположении духа, а именно в таком, каковое у него всегда бывало, когда обретался он среди близких ему людей, причем, чаще всего, конечно, отнюдь не в родственном смысле.

В пятом часу пополудни окружение это в тот день составили почти полсотни морских офицеров – по преимуществу русских, и по преимуществу, молодых. Застолье было устроено в новом, просторном, каменном строении, с явно низковатым для царя сводчатым потолком, чисто выбеленным известью. На острове Кроншлоте шла большая стройка. Возводился Кронштадт – мощная морская крепость, которая должна была прочно запереть проход морем к новой русской столице Санкт-Петербургу.

Стоял веселый гвалт: молодежь веселилась. Мундиры все скинули и повесили на спинки стульев, оставаясь, не исключая и царя, только в белых рубашках голландского полотна.

Петр, однако, на месте не сидел. Он любимейшим образом своим прохаживался по залу с бокалом в руке, слушал, о чем говорили молодые русские моряки, потрепывал кого-то по плечу, чокался, отпивал по глотку и снова свободно прохаживался.

Но вот он подошел к своему месту – во главе стола, весело, быстро и в то же время внимательно оглядел всех своими круглыми, сверкающими глазами и поднял правую руку вверх. И гомон тотчас стих. Все приготовились внимать своему кумиру.

3

– Господа офицеры!

Петр несколько мгновений помолчал, улыбаясь в усы. Выдержав нужную паузу и собрав таким образом внимание всех, царь начал говорить.

Голос царя Петра был не звонкий и высокий; обыкновенный и даже вовсе не сильный басок. Но звучал он под каменными сводами весьма ясно, слышимый всеми, кто сидел в тот час за столом.

– Вот гляжу я на вас, таких молодых да веселых, и мне тако же радостно, но не токмо потому, что веселюся здесь вместе с вами. Но и потому, что спущен на воду еще один кораблик. И хотя не велика посудинка – в двадцать пушечек всего, а я – все равно рад. И вы, мои товарищи, чаю, тоже рады…

Давным-давно, лет, может, пятнадцати от роду, или даже меньше, читал я Несторову летопись. Из ней и вызнал, как один из начальных князей наших, именем Олег посылал ладьи свои на Царьград. И вот, с того детского времени и засело у меня в голове – здесь Его Царское Величество простецки постучал кулаком себя по лбу, вызвав веселое оживление за столом, – засело у меня в голове, повторил он, – море.

Сначала вельми хотел стать освободителем Царьграда от басурман. А когда по милости Божией, чрез препоны диавольские царем-таки стал, довел до меня Господь, что государству Нашему без моря – никак не можно. Никак не можно. А шведы, да турки, да крымчаки пред глазами русскими препрочный занавес задернули и тем со всем светом, почитай, коммуникацию пресекли! – В этом месте Петр поднял голос до крика даже, в коем явно слышалась злоба.

Царь взял паузу, а помолчав – продолжал спокойно и уверенно:

– И пришлося нам, грешным воевать. Какие ужасы адовы кромешные у нас с вами при этом произошли, нынче говорить много нечего. Сами все ведаете. А в наше время – я в конечной виктории над шведом не сумлеваюсь! Потому что сейчас у нас есть Кронштадт, где мы сидим и вино пьем; есть и Санкт-Питербурх; потому что русскою храбростию взяты Рига и Ревель; потому что мы

сами корабли уже строим и крепко можем защищать себя на море. И потому что Невою к нам заходят суда и из Европы; а коли даст Бог, то построим и канал великий Ладожский; так Волгою в Санкт-Питербурх торговать к нам и азияты прийдут…

Петр поднял было бокал, хотел, видимо, тост провозгласить, но слушатели его повскакивали с мест, закричали «Виват!» и «Ура!» и царь посчитал, скорее всего, тост свой излишним: и так, мол, все ясно. Отпил он из бокала глоточек, сел, и стал, значит, закусывать. И его сотрапезники – тоже. В помещении установилася почти что полный штиль; все сосредоточились на еде. Редко где только звякнет кто-нибудь прибором.

4

И вот в такой-то тишине раздался вдруг… плач. Настоящий громкий плач. Это было… более чем удивительно! Среди веселого пира – слезы, да какие! Не скрывая лица, белугой ревел лейтенант Семен Мишуков.

Сделали попытку засмеяться. Петр же, который к Семену относился очень хорошо – не засмеялся. Напротив – спросил – участливо и даже с некоторою тревогою:

– О чем, Семушка, слезы льешь? Аль обидел кто? Ты только скажи, а уж мы ему…

Но услышавши царские слова, к нему обращенные, Мишуков, напротив, принялся реветь еще громче.

За столом все же некоторые опять сделали попытку увидеть в картине смешное, и, так сказать, адекватно отреагировать.

– Молчать! – резко выкрикнул царь. – Или не видите, что не в себе вовсе человек? – И, налив в оловянную чарку воды, буквально силою заставил плачущего лейтенанта отпить несколько глотков. Сказал ему строго:

– И не стыдно тебе? Русский офицер, фрегатный командир, а ревешь как… как… – Петр явно затруднялся в поисках сравнения. – С какой стати плачешь-то? Сказывай!

Ослушаться Мишуков не посмел. Испивши воды, он, хотя и икал, хотя и слезы у него ручьем течь не перестали, начал говорить:

– А как… как мне не плакать? Как не… плакать? Ведь вот сидим мы… за этим столом, едим, пьем, новому кораблю радуемся вельми … Хорошо ведь?

– Хорошо! – весело подтвердил повелитель. – Вали дальше! Любопытно…

– Питербурх строится не по дням а по часам… Все мы, моряки российские, да и я сам – Семка, Семка Мишуков, который отроком еще пас телят боярских и который ныне и кортик имею и на военной службе состою, все мы милость твою и планы твои, государь, великие, понимаем доподлинно, и животы свои легко положим за тебя и за Отечество наше любезное, коли нужда станет… Но ведь… Но ведь здоровье-то твое трудами великими уже подточенное… Вот я и плачу… На кого ты нас покинешь?

Вот теперь наступила мертвая тишина. Все ожидали, что царь страшно разгневается. И какой ни был хмельной Мишуков – тоже ожидал. Он высказался и теперь был готов ко всему.

Но гнева царского не последовало.

– Как, на кого? – спокойно удивился Петр. – У меня есть наследник – царевич.

– Ох, да ведь он – глуп! Все расстроит! – с нескрываемой досадою ответил царю Мишуков. – Расстроит, как есть! – повторил он.

На этот раз наступила не простая тишина, а такая, что стало явно слышным многое людское дыхание. Снова запахло гневной царской вспышкой. Но – удивительное дело – опять таки, против ожидаемого – царь вдруг усмехнулся и… залепил Мишукову крепкую затрещину. Мишуков здорово шатнулся, но на ногах устоял. Видать, не был он настолько пьян, насколько хотел казаться. А Петр – сказал ему, мрачновато сказал, это правда, но без гнева:

– Дурак! Этого при всех не говорят!

Ночь после пирушки Петр провел на новом корабле, в крохотной капитанской каюточке на корме. Лежал на свеженабитом пахучем сеннике. Простынею ему служил кусок новой парусины. В головах была походная кожаная подушечка, набитая конским волосом. Одеяло царское походное, было хотя и теплое, ватное, но старенькое, не с единою заплатою. Но менять его на новое царь не велел.

Было тихо. Но Петр знал, что за каютною дверью расположились два его денщика – расторопных, понимающих своего повелителя когда с полуслова, а когда и вовсе без слов.

На верхней же палубе разместилась еще, хотя и немногочисленная, но охрана с оружием. Так что царь имел все основания считать себя в полной безопасности.

Но сна не было.

Сразу же после застолья, Петр, по постоянному своему обыкновению, часа с два соснул. И потому, видно, ночью долго не мог уснуть. Но была и еще одна, главная, причина царской бессонницы: пьяная выходка Семена Мишукова.

Петр отлично понимал, что будь Мишуков потрезвее, он ни за что не решился бы сказать то, что сказал. Но ведь (и это царь тоже хорошо понимал) «что у тверезого на уме, то у пьяного на языке». Выходит, что, так как этот пьяный лейтенант сказал, думал и едва ли не все, кто сидел нынче днем за столом с царем.

И это было правдой. Потому что так же, как Мишуков, думал и сам царь.

6

Но что же делать! Что же делать, Господи? Ведь впору самому было зареветь в голос не хуже того пьяного лейтенанта. Но этого было никак нельзя. Потому как за дверью если и спят, то очень чутко: при малейшем шуме встрепенутся. А сторожей беспокоить нельзя. Разговоры пойдут о царевой слабости. На чужой роток, как говорят, не накинешь платок…. Да…. Подарил Господь сыночка… Знатный подарочек…

Петр долго-долго ворочался с боку на бок, да так и не заснул толком. Летом на Балтике ночи короткие. Царь лежал и думал.

А, между тем, – как все хорошо начиналось! Как же хорошо начиналось, Господи! И отчего все так плохо нынче – так плохо, что даже флотские лейтенанты, ему, отцу, за сына совершенное неудовольствие вслух и громко безо всякого стеснения выражают! Стало быть сын его и горе его – для подданных – совсем не тайна: все всё знают и судят обо всем. Куда как хорошо!

7

Свой внутренний голос Петр почти никогда не слышал и не слушал. Ибо был всегда очень занят и слишком уверен в себе, – как и любой исполняющий миссию. Только вот в такие бессонные ночи невидимый и неслышимый прочими судья настигал-таки душу его и начинал суд и расправу, причем, ни уйти, ни даже убежать от него куды нито, не было никакой возможности.

Вот о н – вертится в голове и никак не хочет пропадать – главный вопрос: «А нет ли в том, что сын твой таким-то вырос и стал, – твоей вины, а, отец?»… Ибо ведь чтобы он, сын, стался по образу и подобию отцовскому, надо его подле себя держать. Чтобы чадо, на отца глядючи, ума набиралось… А так ли было?

– Нет, – признавался отец и принимался с жаром доказывать и объяснять ему самому такое ясное и понятное:

– Я – всю жизнь только и знаю, что работаю! Я занят по самое горло! У меня на плечах государство! У меня – такие большие дела были и будут, что, нежностям семейным в них места нету – ну совсем!

– А коли так, – как бы маленько итожит голос, – что же отцу на сына обижаться? С отца главный спрос!

– Может, меня рано женили, и в этом все дело? – в некоторой нерешительности размышлял отец.

– Э, нет! Матушка ведь с твоею женитьбою решила, когда тебе уже более шестнадцати годков было. А это – совершенные лета, и вилять тут нечего. Ведь

причина-то в другом деле вовсе. В те поры брат твой старший и царь Иван Алексеевич уже женат был и первого прибавления в семействе своем ожидал. Надо было торопиться уравниваться! Вот и оженили тебя на Дуне.

– Это – понятно. – неожиданно спокойно отреагировал Петр. – Давай дальше…

– А что – дальше? Ты сколь годков в супружестве с Дунею мужем прожил? Пять? Целых пять? Нет, всего только пять! А часто ли ты – за эти-то пять лет – с женою б ы л и сына каждый день, как нужно бы, видел?

– Знамо дело, не часто. – соглашался Петр. Но попробовал, тем не менее, воодушевиться – снова стал выдавать возражения:

– Я – николи не забывал, что Алексей – сын мой! Я – готовлю его на царство! Он – в Саксонии учился в Дрездене, в университете. Он геометрию и фортификацию в Кракове превосходил! В семьсот осьмом году в Смоленске провиант для армии заготавливал! Москву готовил к обороне от шведа! Свежих рекрут под Полтаву аккурат перед баталией ко мне привел! А что в битве не пришлось мне его видеть, так ведь истинно – в лихоманке слег злой!

– А хороши ли рекруты-то были? – ехидно спросил Голос у Петра.

– Нехороши, верно, – согласился царь-отец. – Так ведь молод вельми еще…

А внутренний голос не молкнет все, знай свое гнет, тоже возражает, не ленится:

– А тебе, что, неведомо разве, что сын твой еще и в Смоленске по кормовым для войска делам не бывал, а в Суздале, в монастыре Покровском уже бывал и с матерью своею – Евдокиею – виделся? Ведомо? Ведомо, ведомо!

Может, ты и в сей час, ночью, здеся, без ушей недобрых твердить станешь, будто жена твоя едва в ногах не валялась, сама, слезно в монастырь просилась? Так это ты днем говори, прилюдно. И свидетели днем, понятное дело, всегда найдутся ко услугам. А ночью, ночью-то зачем душой кривить? Правда в другом, и ты, царь, правду сию ведаешь доподлинно. Правда – в том, что сын твой видел тебя – отца весьма редко. И то – без радости. Уж больно сурово ты его встречал, больно сурово наставлял, больно часто упрекал да угрожал, а бывало – и бивал

даже! Ты что же хотел, чтобы сын о матери своей забыл вовсе? Так знай: не может сын о матери забыть. Тем паче, не по своей, а пусть даже и по отцовской воле. Ведь он, сын-то, вопреки оной воле, еще крепче, матерь свою помнить будет.

Выходит, что? Выходит, ты сам, отец, почитай, во всем и виноват. И на кого теперь, скажи на милость, жаловаться да сетовать? Вестимо, на себя самого. И только.

8

Тихо вокруг. На малой волне корабль, в котором лежал и думал думу свою Петр, едва заметно покачивался. Царь не спал, ворочался. Его сжигала досада. Надо принять во внимание, что Петр Алексеевич, хотя свою царскую роль ясно понимал, но, как нам представляется, более всего привык к повиновению других. И как повелитель склонен был более впадать в ярость по поводу ошибок исполнителей, нежели бичевать себя за ошибки, которые совершал сам – хотя бы и мысленно.

Между тем, эта тяжелая, томительная для царя ночь, наконец, прошла. И ранним утром коротко и торопливо постучавши, в дверь коютки, в которой царь ночевал, сунул голову Данилыч – ближайший не только в те поры но и до самой смерти царской, к нему человек – Александр Данилович Меншиков.

– Мин херц, пустишь ли?

– Заходи, – тоном, как говорится не предвещавшим ничего хорошего, коротко ответил Петр и спросил:

– Что надобно?

– Дельце есть.

Царь по-прежнему оставался, что называется, мрачнее тучи. Молчал, и молча, смотрел на утреннего непрошенного своего гостя, который объяснял почтительной скороговоркой:

– Вчерась токмо «купец» пришел с сукном офицерским аглицким. Так я велел отрезать кусочек… С коровий носочек. Прикажешь показать?

– Ну, покажи…

Меншиков выскочил вон и почти тут же воротился, ведя за рукав незнакомого Петру матроса, несшего в руках свернутое синее английское сукно.

Сияя победною улыбкою Данилыч вослед за тем довольно-таки ловко развернул материю перед глазами мрачного после обильной вчерашней выпивки «минхерца».

– Каково, а? – громко и одновременно, отчетливо-льстиво спросил Меншиков.

– Щас поглядим… – коротко рявкнул Петр и, крепко ухватив край шерстяного куска, ощерившись, коротко и резко рванул. Английское офицерское сукно выдержало.

– А? – воскликнул торжествующе ожидавший эффекта полудержавный властелин. – Каково сукнецо?! – и рассмеялся раскатисто и громко, вполне довольный.

– Ты… это… погоди-ка веселиться. – ответил Петр. – Мне и самому ведомо, что сукно аглицкое зело доброе, особливо новое. Новое да сухое…

Неожиданно Петр резко и круто повернулся на каблуках. И очутился лицом к лицу с матросом. Обожженный сверлящим царским взглядом, ярко, словно молния сверкнувшим в сумраке каютки, матрос испытал, скорей всего, жуткий страх, потому что безотчетно попятился к двери и едва не споткнулся о комингс.

Но железный царский палец все же догнал его и пребольно ткнул «под ложечку».

– Снимай! – коротко приказал Петр.

Не говоря не слова матрос выполнил приказание и куртку снял. Причем Петр сразу увидел, что под курткой у того ничего не было.

Снова – коротко и зло – сверкнул царский глаз, пребольно резанув Меншикова. Царь взял куртку за целую полу и потянул. Сукно немедленно расползлось, да не по шву а по целому. Молча швырнул царь матросово рванье тому в руки, и он, что называется, пулей выскочил вон.

– Ну? – ледяным голосом спросил Меншикова Петр. – Что ты на сие скажешь?

– Матрозы – ведь они завсегда в воде мокнут. Вот сукно и слабнет – от воды-то… Плохо сушат одежду. – нарочито бодро-деловым тоном объяснил Александр Данилович своему повелителю.

– Будет тебе врать! – резко оборвал меншиковскую тираду царь. – Небось, подряд-то на матрозовское сукно ты и взял! Так, ай нет? Отвечать надоть, коли царь спрашивает!

Но Александр Данилович в сию минут почел за благо смолчать с убитым видом.

– Сука! – вдруг резко и громко выкрикнул Петр и крепчайший царский кулак обрушился на голову Меншикова. Оглушенный ударом, тот рухнул как подкошенный.

И тогда Петр открыл дверь каютки и крикнул просто наружу, ни к кому определенно не адресуясь:

– Ведро воды! Быстро!

Ведро холодной забортной воды было принесено мгновенно. Петр, кивнув головой на лежавшего Меншикова, скомандовал:

– Отлить!

9

Меншикова окатили холодной морской водой и он скоро заворочался, замычал и затряс головою.

– Посадите его, и – вон отсюда!

Дверь испуганно хлопнула.

Сидя напротив Меншикова, царь не торопясь набил табаком глиняную трубочку, раскурил ее и выпустил дымную струю прямо в лицо оживающему Александру Даниловичу. Помолчал. И спросил – громко, почти весело:

– Очухался?

– Ну… – ответствовал хриплым голосом побитый.

– Слушай меня. Сукно я проверю. Ежели твой подряд – держись. Такого штрафу назначу – рад не будешь. Но об этом после. У меня сейчас к тебе дело имеется. Тайное. И хотя ты, как я знаю доподлинно, сволочь отнюдь не маленькая и вор, и надо бы тебя наказать примерно, но… Знаю тако же, что предан ты мне как собака и проверен многажды… И посему выходит, обойтись мне без тебя опять нельзя… Ты слушаешь?

– Слушаю…

– Слушай еще.

10

– Вчерась мне Семка Мишуков в глаза сказал, что сыночек мой Алексей – дурак форменный, и дело мое, государское, опосля того, как Бог-де меня приберет, непременно порушит… Но Семен – мальчишка, да и пьян был сверх всякой меры… А вот ты-то как думаешь?

– Я – что? Ты ведь и сам – знаешь-понимаешь, что в Алешкины руки престол отдавать… опасно. И не в Алешке тут дело. А в людях, к коим он нынче прилежен.

– И ты людей тех знаешь? – деловито спросил Петр.

– Ну… Кого-то знаю, кого-то не знаю. Но ты скажи только слово – все будешь ведать!

– Вот-вот! Надобно проведать доподлинно – что за люди. Думаю, однако, что это пока только клобуковая братия. Из тех, кто Алешку с измальства ханжить приохотили. Коли так, то пускай все идет, как и шло. Опасности, я чаю, пока нету… Пока нету. – повторил он. – Но не дай Бог, там в коноводах кто другой обретается: от тетушки Софьюшки из Девицы – те, кто ныне в темных углах хоронятся и свету белого не любят… Вызнать все доподлинно! Вызнать и донесть! Месяц сроку тебе даю! Копай как хочешь и где хочешь! А не вызнаешь – пеняй на себя! Ты меня знаешь. Я не посмотрю, что ты Меншиков! Уразумел? Ступай!

11

Александру Даниловичу Меншикову давно и все было понятно. Посему он уже несколько раз и порывался бежать из каютки прочь. Ибо ясно видел, что царское раздражение пока не минуло, и что в любой момент непогашенный как следует гнев может разгореться с новой силой. В такие минуты лучше от Благодетеля держаться подалее. Неровен час – распалится, да еще палку в руки возьмет… Тогда – беда.

Но давайте-ка мы переживания Александра Даниловича пока отставим…

А вот – помнит ли читатель, как Петр Алексеевич – тогда, ночью, с сожалением воскликнул про себя – дескать, ах, как хорошо все начиналось?!

Вот мы и расскажем далее, как все начиналось на самом деле, как продолжалось и закончилось. И так ли уже на самом деле все сначала было действительно хорошо. И какова была вся эта история. И не только в начале, но и, так сказать, на всем ее протяжении.

Часть первая

повествующая о рождении и раннем детстве царевича Алексея Петровича, о первых надеждах, которые питал по поводу сына отец и о первых расчетах, которые делали на него недруги Петра.

1

Началось все семнадцатого февраля 6198 года от Сотворения мира, или 1690 года от Рождества Христова. Был понедельник.

И начался, и шел этот день спервоначалу самым обычным образом. Не обычное началось только вечером, когда за ужином Петр не увидел Евдокию. Хотя… Что же в этом удивительного? Петр – женатый человек и понимает – что к чему: отчего живот у женушки, отчего Дуняша побледнела и подурнела, отчего у нее последнее время почти всегда кислое выражение лица, отчего она очень мало ела: только пожует чего чуточек и отставит. Так ведь всегда бывает, когда баба рожать собирается, но сами роды еще не приспели. Хотя и говорили все вокруг, и немецкие лекари тоже, что беременность молодой царицы протекает как следует и оснований для беспокойства нет, но матушка Наталья Кирилловна с сыном все равно смотрели на нее с участием и тревогою.

В тот вечер мать сказала сыну:

– Дуняше неможется. Она испросила позволения не выходить к ужину. Я – позволила… А ты бы, Петруша, после ужина зашел к ней, проведал да утешил…

– Проведаю. – коротко ответил сын.

При этих материнских словах юный царь сразу вспомнил, ч т о говорил ему неделю назад любимый дядюшка Лев Кириллович, заметив, как племянник трусит, когда заговаривали о приближающемся прибавлении царского семейства.

– Это что – невидаль что ль какая – баба на сносях? Родит, родит, ничего с нею не сдеется. Иного пути явиться человеку на свет Божий не было и не будет. Все одно, кто тот человек – холоп кабальный или трону наследник. Тут о другом думать надобно: кто родится – царь будущий или теремная затворница.

– Мне – все одно, кто бы не родился. – быстро, как давно для себя решенное, ответил племянник.

– Э, нет, дружочек! Хорошо, кабы наследник и царь будущий пораньше родился. Ах, для чего? Ужли не понял? Да чтоб постарше был, когда ему час ударит престол принимать… Что зенками-то сверкнул? Обиделся, что ли, как на смерть твою намекнул? Ну, этот ты напрасно… Помнить о смерти всегда полезно. А царю – тем паче.

Ты ведь, хотя и царь, а как все – не вечен. И кто тебя об этом без вражды или умысла какого скажет, коли не я? Софья, что ли? Да если мальчик у тебя родится, она, как есть, от злобы желчью изойдет, поди. Даже в келье, за стеной и под стражею.

2

Итак, вспомнив, что говорил дядюшка Лев Кириллович, Петр решился показать матери, что сын ее, поскольку дитя у него вот-вот народится, – уже не ребенок, и, напустив на себя, сколько мог, важности, сказал:

– Ничего с Дуняшею худого не сдеется! Родит, как и все. И до нее рожали, и после нее рожать будут! – и далее добавил тоже близко к тому, что услышал не так давно от дядюшки Льва:

– Тут о другом гадать надобно: кто народится – парень или девка.

– Кто не родится всяк для жизни сгодится! – улыбаясь ответила на эти слова сына матушка.

– Так-то оно так, согласился сын. – А все же хочется, что бы мальчик, наследник престола появился пораньше.

– Вестимо. – тоже согласилась мать. – Только ведь как угадать-то…

– А говорят, есть бабки, которые угадывают.

– Говорят…

3

Разговор этот происходил во время ужина на половине царицы-матери. Ели только мать и сын – двое, запросто.

И вдруг в дверь столовой сунулась голова одной из бабушек, которые последние дни от Евдокии ни на шаг не отходили, и, торопливо, тревожно, а в то же время как бы и радостно, – не сказала даже, а чуть ли не вскрикнула:

– Началось!

И тогда, роняя стулья и посуду, мать и сын бросились вослед за бабушкою, но Петра в ту комнату, где находилась Евдокия – не пустили. Пустили только свекровь.

Петр же в растерянности только огляделся. Ничего больше не оставалось. У него, не смотря на крайнюю степень возбуждения, хватило рассудка не ломиться в запертую дверь. И поскольку действительно ничего больше не оставалось, он уселся в старинное привезенное из Польши еще при дедушке Михаиле Федоровиче, кресло, стоявшее в углу.

Дело в запертой комнате, по-видимому, затягивалось. Взволнованный Петруша места себе не находил: то сидел в кресле, обхвативши руками острые колени и раскачиваясь, то принимался ходить и даже бегать по этой странной комнате с единственным креслом польской работы, то снова садился, то подходил к двери, подставлял ухо и пытался расслышать – что происходит за нею; но ничего понятного не слышал: дверь была добросовестно прикрыта. Угадывалось только некая суета, беготня, то и дело бухали, закрываясь, какие-то двери.

Так и шло время. Вечер давно кончился. Наступила уже ночь, с самого своего начала полная тревоги и напряженности. И конца ей видно не было.

4

Поскольку беременность молодой царицы ни для кого в Кремле секретом с некоторого времени не была, то заметный ночной переполох во дворце получил немедленное и точное истолкование: «Дуня -царица рожает!»

Однако, прошло уже немало времени и после полуночи. Петр даже соснул, вернее недолго забылся в кресле. Но на все учтивые призывы забегавшихся дворцовых людей идти отдыхать, он отвечал отказом. И вовсе не из-за особой любви к Евдокии, а совсем по другой причине: он уже совершенно убедил сам себя в том что родится мальчик. И хотел свидетельствовать этот государственно-значимый факт. Но произошло все ожидавшееся очень просто и… неожиданно.

Дверь вдруг распахнулась. На пороге стояла матушка. За ее спиной было очень светло – от одновременно горевших многих свечей. Открывшая дверь царица Наталья Кирилловна в свою очередь увидела, как в углу длинно распрямляется, вставая из кресла ее Петруша, у которого на лице был ярко выписан немой вопрос. И она закричала – даже с каким-то визгом:

– Петруша, миленький! Счастье-то какое нам! Мальчик народился, сыночек твой, кровинушка твоя, наследник престола!

И бросилась к сыну. Лицо ее – такое ему знакомое, круглое и доброе, которое Петр увидел совсем-совсем близко – было мокрым от слез. Они текли неудержимо. Но матушка слез этих не вытирала. Потому что это были слезы радости.

5

Что такое из себя есть рождение человека?

– Явление вполне зряшное. – скажет кто-нибудь. – Ведь каждый день и каждый час рождаются, может быть, многие миллионы людей. Однако, на лбу у каждого не написано – к т о родился: простой пахарь, великий книжник или праведник Божий. Но есть у сего великого действа – рождения человека – изъятие. Это когда появляется на свет Божий венценосный младенец, наследник престола. Тогда люди принимаются повсеместно радоваться, пьют вино и славят Отца нашего небесного. Хотя еще и неизвестно, доживет ли мальчик до совершенных лет, сядет ли на трон, и каким будет монархом – может, славу стяжает великую, а может и позор.

6

Итак первенец царский свет увидел девятнадцатого февраля, а по нашему, Русскому счету, восемнадцатого, часу в двенадцатом, а по иноземному счету в шестом.

Как бы об этом великом событии записал дворцовый грамотей тогдашним языком? А примерно так: «По случаю благополучного благоверною царицею нашею Евдокиею Федоровною разрешения от бремени сыном от мужа ея благовернаго и царя Великого Московского Петра Алексеевича февраля в девятнадцатый день в одиннадцатом часу, оба Великие цари и Государи – Петр Алексеевич да Иван Алексеевич имели выход праздничный в Успенский собор».

Но ведь это – обычная поденная запись. Воспроизвести ее близко к тому, как она, скорее всего, действительно была сделана – не большого труда стоит. Иное дело – описать самую картину царского выхода. Это – намного труднее. Но, поскольку картина эта сюда настойчиво просится – мы попробуем.

7

Просто сказать, что в тот день в соборе-де было много народу – значит, ничего не сказать. Потому что народу было так много, что, как говорится в таких случаях, – яблоку упасть было негде. И народ этот в соборе был… пестроватый. Потому что хотя и старалась царская кремлевская стража, что бы люди, попавшие в собор были бы почище, это не всегда удавалось. И вместе с боярскими да дворянскими выходными одеждами видны были и простые овчинные тулупы, и нечесаные бороды торговых сидельцев, слободских жителей, а то и вовсе подлых людей.

В тот час великого торжества – все были равны; каждый радовался уже тому, что зрит великолепную службу, слышит голос и видит святейшего патриарха Иоакима; зрит и обоих государей в ярких праздничных одеждах, зрит и то что царь Петр Алексеевич вовсе не хотел скрывать своей радости и улыбался постоянно – рот до ушей.

Но в тот день особо заметили и того, кому не очень весело было – царя Ивана, быть может, единственного в соборе. И многие понимали, отчего тому не весело.

Ведь Иван – тоже царь и самодержец. И покуда у брата Петра не было сына, Иван имел шанс. Ребеночек то у него народился раньше. Хотя и девочка,

нареченная Марией; и далее у Ивана рождались все дочери. Пусть старший брат Петра и был слаб здоровьем и болел цингою; пусть он, по общему мнению и не был годен к государскому правлению, и, по всей вероятности, сам это осознавал, вокруг него всегда обретались люди, главным образом из числа Милославских, да родственников жены Прасковьи Федоровны Салтыковой, которые всегда были готовы подогреть слабое Иваново честолюбие.

Но вот у брата Петра родился сын. И все. Все, даже самые слабые из слабых надежды на возвышение Ивана в одночасье рухнули. Оттого и был Иван в тот день невесел, хотя у него и хватило ума не показывать этого открыто.

8

Закончилась торжественная служба в Успенском соборе, и толпа повалила в Архангельский, а потом еще и в Благовещенский. Лишь оттуда большая часть толпы разошлась, наконец, восвояси. Но оба самодержца еще выдержали праздничные литургии, каждый отдельно в своей дворцовой церкви.

Как издавна у нас водится, по поводу рождения царственного наследника в Москве было выпито за царский счет немало. Думных и ближних своих людей царская семья поила фряжским, дворяне же, стрелецкие полковники, дьяки и гости в обилии угощалися водкою.

9

Гудели, напрягаясь колокола – церковные голоса. И над всем этим глушным звоном по праву царил Иван Великий.

Радость была всеобщей. И причина этой радости тоже была единой. Потому что в сознании обыкновенного русского человека, жившего в последней четверти семнадцатого века, рождение венценосного младенца давало каждому подлинное Божье успокоение. В чем? Конечно же, в том, что если бесспорный наследник есть, то, скорее всего, не будет сумятицы, столь страшной Смуты, которая случилась в начале века, и о которой многие уже, как о живых своих переживаниях, может быть, и не всегда помнили, но все – знали.

И не только никто не хотел, чтобы смута, хотя бы частью своей, явилась сызнова, но все радовались, что теперь-то ее точно, вдругорядь не будет.

В этом – тогда, в феврале, – все были заодно. Все. И те, кто любил молодого царя Петра Алексеевича, и те, кто его ненавидел. И вторых тогда было едва ли не больше.

Первые не без основания полагали, что наследник придаст Петру уверенности в действиях. Вторые же – рассчитывали, что с рождением сына царь остепенится, больше времени будет в семье, и потому – новые, чужеземные химеры, к коим нынче он так прилежен, и посему так напугал радетелей старины, мало-помалу из его головы повыветрятся.

10

Картина пьяной Москвы тогдашней нам сегодня, наверное, показалась бы интересной. Но молодому Петру она была вовсе не по сердцу, т.е. прямо скажем, изрядно надоела. Иначе – чем объяснить, что уже на следующий день царь уехал из Москвы в Фили, к дяде Льву Кирилловичу Нарышкину? У него там имелся загородный дом. В том-то доме и сидели за столом, угощались пивом и разговаривали племянник и дядя. Пётр чувствовал себя здесь как дома, совершенно без опаски, потому что доверял дядюшке безгранично.

11

– Слава Богу, все закончилось!

– Да, Петруша, большое дело ты сделал!

– Я?

– Ну, а кто же еще?

– Теперь все притихнут – и Милославские, и Салтыковы, и прочие!

– Притихнут-то притихнут, да не успокоятся. Смотреть за ними надо во все глаза…

– Нет-нет, теперь все!

– Воля твоя Государь, я тебе не судья, а все же – побыл бы ты в Москве еще…

– Чего ради?

– Слышал, стрельцы зело просились тебя поздравить…

– Ну их к чертям!

– Уважить бы надо…

– Или ты боишься, дядя?

– Боюсь…

– А я – не боюсь! Я теперича никого не боюсь! И Патрика к столу позову! Царь я или не царь?

– Царь, царь… И воля – твоя. А вот хорошо ли будет?

– Хорошо, хорошо все будет. А то, видано ли дело – я, царь, а не могу, кого хочу к столу своему пригласить!

– Он католик, Петруша…

– И что с того, что католик? Он – добрый католик! И мне служит – не за страх, а за совесть! Побольше своих так бы служили, как этот чужой!

– Ох, берегись, берегись, их, Петруша. Католики добрыми не бывают. Одни ляхи, вон, чего стоили нам!

– На Смуту новую намекаешь? Так не будет её больше! А коли на Августа – так ведь он – не поляк, а немец природный, саксонский, лютеранин.

– Ладно, ладно… А вот – покушай курятинки, знатная курятинка… У меня повар Герасим – сам знаешь, каков повар – кудесник, ей Богу!

– Дядюшка, не хитри! Лучше ответь: потребны нам нынче иноземцы, ай нет? По правде полной ответствуй!

– Потребны, потребны, Петруша. Ты – кушай курятинку-то, кушай!

– Нас еще многому учить надобно! – распаляясь не на шутку и размахивая куриной косточкой, витийствовал Петр. – И ты мне, должен в этом всем первым помощником быть! Я думаю тебя головой Посольского приказу поставить… Что ты на сие скажешь?

– Уж и не знаю, как ответить… Служить тебе рад. За честь великую почту. Однако, смогу ли, не знаю. Чтобы в Посольском приказе дела вершить, надобно иноземные дела – как они суть – ведать доподлинно. А я – что? Иноземных дел не ведаю, языков – тоже… разве… разве что по-польску, але добже не вем. Одно обещаю: дело свое править стану по совести.

– Что только от тебя и надобно! В самом-то приказе у нас людей, кои добре иноземные дела ведают, хотя и нехватка, но имеются. А на голову – свой человек нужен. Разумеешь?

– Вестимо, разумею.

– Я чаю, иноземцы честные нам ныне потребны, как николи еще не бывали. Все будем менять. И не мы – так дети наши вкусят от перемен полной мерою. И сын мой, который вечор только народился и свет Божий увидал, – лучше отца своего , – меня, то есть, будет. За границу его отправлю. Тамошнюю науку превзойдет. Языки будет ведать. И не токмо латынь или твой польский, но германский и французский… Веришь ли сему? – весело спросил дядю Петр. – Дядюшка от души рассмеялся.

– Что? Что? – наседал племянник, немедленно начиная обижаться.

Лев Кириллович отлично знал неровный нрав любимого племянника и поэтому постарался ответить так, чтобы не дать особенно распуститься гневу Петра.

– Воля твоя, Государь, воля царская… Она много чего может. А только хватит ли проку с того, что наследник твой станет по-французски лучше, чем по-русски

говорить, а другие –на него как на чудо заморское глазеть?

– Других тоже выучим… Дел немало предстоит. Я… Да я жизнь свою до последнего денька положу, не пожалею, а… государство Наше возвышу! Перестанут нас с татарами-то путать! Будут еще и нимало заискивать пред нами!..

Петр вдруг остановился, как на бегу, и подозрительно глянул на улыбающегося Льва Кирилловича.

– Да ты, что, не веришь что ли мне? Улыбаешься, вон… Как же ты станешь в Посольском-то приказе государское дело вершить, коли Государю своему не веришь?

Лев Кириллович поспешил тотчас согнать улыбку с лица.

– Верю, верю. Верю, что жизнь свою положишь. Только ведь это дело – неподъемное. Хошь ты и царь. Помощников надобно иметь. И немало. На кого облокотишься? На бояр? Эти скопом за тобою не побегут. Артачиться станут, непокорствовать. Скажут: «Чего это он нас от старины-то прочь тащит? Мы, мол, и сами с усами. Мы, мол, тоже – Рюриковичи, да Гедиминовичи! Не дурее его! Тыщу лет так-то жили и еще тыщу проживем!» А? Что ты на такие слова ответишь? Похоже на правду? Что молчишь?

Петр молчал, только сосредоточенно рассматривал тонкую, в два цвета, вышивку на утиральнике.

12

Однако на следующее утро племянник рано-рано все-таки отъехал из дядиных Филей в Москву. Сказал тому, почти добродушно, садясь в возок.

– Прав ты, Лев Кириллович. Хоть не за что мне любить стрельцов, одначе, съезжу. Не стану сих гусей дразнить. Посмотрю – как и чем это воинство меня славить станет. – Засмеялся сам словам своим и уехал.

Примерно в полдень он и его охрана уже проезжали в Спасские ворота Кремля.

Когда царский поезд очутился на Ивановской площади, узрел Петр в окошко слюдяное две примерно сотни стрельцов, разодетых с наивысшим приличным случаю шиком и стоявших в том строевом порядке, который был только посилен в то время для русских, но которому было еще очень далеко до немецкого.

Как только возок с Петром остановился, стрельцы дружно грянули «ура» во все свои стрелецкие глотки. И вышло это у них до того громко, что немалое число голубей и галок, бывших в то время на жительстве в Кремле, с превеликим шумом поднялись в воздух.

«Ура» – кричали выборные от шести стрелецких полков, которые дислоцированы были тогда в Подмосковье. Выборные должны были полною мерою донести до Монарха свидетельства того, как стрельцы нынче любят молодого Государя. Ну, а кто старое помянет…

Когда же Петр вышел из возка и взошел на паперть Успенского Собора, – стрелецкое «ура» достигло такой силы, что казалось, – еще чуть-чуть, и, ошалевшие от человеческого крика, ни в чем не виноватые пернатые кремлевские обитатели станут просто падать с высоты замертво.

Из строя вышел, – Петр его узнал, – полусотенный Акинфий Ладогин и приготовился орать стрелецкое приветствие царю, которое было сочинено стрелецкими грамотеями и которое сам оратель предварительно выучил назубок. Акинфию такая честь оказана не случайно. Он был среди тех смельчаков, которые упредили Петра о том, что сестра Софья готовила убийство его. Потому-то царь и знал Акинфия «лично», потому-то он, Акинфий, и стал, хотя и небольшим, но начальником, получил под руку пятьдесят стрельцов, что называется, выдвинулся.

Акинфий был одет очень чисто. Но ни ружья, ни сабли, ни пистолета при нем не было. Он остановился шагах в трех от первой ступеньки соборной паперти, истово поклонился Петру – снявши шапку поясным поклоном, коснувшись, по обычаю, правой рукою земли, затем спрямил стан ровно и сказал, вернее, спросил у Петра:

– Дозволь, Великий Государь, стрелецкое поздравное слово тебе молвить!

Петр, как бы ища помощи, оглянулся. И убедился, что сзади и по обе руки уже стоят стражные люди, коим велено неотступно охранять его царскую персону.

Безотчетное тревожное ощущение, которое у него всегда появлялось при виде стрельцов , – и понятно, почему, – прошло. Царь успокоился. И от-ветил приветливо:

– Говори, говори , Акинфий, свое слово!

Акинфий заулыбался. Ему было лестно, что царь его помнит. Он начал говорить, помогая себе руками. Голос его, сочный и сильный, с басинкою, лился легко и свободно.

– Царь и Великий Государь Московский, Петр Алексеевич!

Стрелецкое твое войско порешило выслать к тебе поздравителями по двадцати пяти выборных от каждого из полков– поздоровить тебя, Государь истинно по рождению в семействе твоем от тебя, Государя честною и благоверною супругою твоею Евдокиею Федоровною первенца-сына, и, навить, наследника стола Великого Московского. Пусть сын твой сей будет здрав и молим Бога Вышнего, чтобы дал Отец Наш Небесный оному сыну твоему жизнь долгую и счастливую, а Тебе, Государь, чтобы дал Он много радости, дабы радовался ты всегда на сына своего глядючи: и коли он первые шаги сделает, и коли первое слово молвит, и коли первые литеры сложит и прочтет, и коли на коня впервой сядет да саблю в руки возьмет. Пусть он, сын твой, почитает тебя, Государя и Отца своего как должно, служит тебе не за страх, а за совесть, и гневить Тебя, Государя, не изволит ни в малом ни в большом пригрешениями своими.

Позволь, Государь, на радостях твоих, а тако же и наших, сей же час палить из ружей. И да ведомо Тебе станет, что огневого припаса у нас от пальбы сей не убудет!

Засим Акинфий снову поклонился Царю в пояс, но шапку красную надел только отойдя от соборной паперти шагов на десять, а может, и чуть поболе – кто считал?

Когда же Акинфий место свое в строю стрелецких выборных занял, снова наступила тишина. И снова Петром овладело ненавидимое им беспокойство.

На выручку пришел нивесть откуду взявшийся, Патрик, друг любезный. Он и сказал Петру тихонько, но так, что тот услышал:

– Ожидают позволения Вашего Величества стрелять.

– У них разве и ружья заряжены? – не скрывая перед Гордоном своего страха, шепотом спросил Петр.

– Ружья заряжены, Государь. Но Вы не извольте тревожиться. Люди получили приказ палить в небо.

– А пули?

– Пуль в стволах нет. Заряды холостые. И пороху указана малая мера.

– А вдруг кто тайным порядком взял да и загнал пульку. А? Проверяли?

– Ружья проверили с отщанием немалым и не раз. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Все идет так, как следует быть.

– Ну, тогда это… Стало быть, позволяю я им палить. А как знак подать?

– Платком махните, Государь мой. Только и всего.

Но платка у Петра не было.

И тогда Патрик Гордон подал царю свой – ослепительно белый, надушенный и накрахмаленный, обшитый тончайшим кружевом в далеком Генте.

Петр взял платок и махнул рукой.

Тотчас же из стрелецкой шеренги выступили первые десять стрелков с ружьями, изготовились и выстрелили ладно, – т.е. одновременно, залпом.

Как и вообразил себе уже, наверное, читатель, галки и голуби снова поднялись с великим шумом. Но для полноты картины – этого мало. Для полноты картины следует сказать, что с каждым ружейным залпом Ивановская площадь заволакивалась густым дымом с тошнотворным тухлым запахом сгоревшего тогдашнего пороха. Но когда грянул последний, двадцатый залп, и дым, от которого хотелось бежать сломя голову, стал, наконец, расходиться, оказалось, что соборная паперть уже пуста: царь уехал, не дождавшись окончания салюта.

Но стрельбою торжества не закончились. На следующий день наступило 23 февраля – мясопустное воскресенье во Великом Посту. В тот день были назначены крестины младенца-царевича, причем, по поводу того, как назвать царева первенца – споров вовсе не было. Матушка Наталья Кирилловна первая указала, что назвать его надобно Алексеем – в честь деда его, благоверного, благочестивого и благополучного царя и Великого Государя Московского, Алексея Михайловича. И никто не возразил. Никто! Даже, наверное, и Софья Алексеевна из-за прочных стен Новодевичьего монастыря не захотела бы ничего возражать.

15

Петр Первый был вполне верующим православным человеком. Представлять сегодня дело таким образом, что великий наш реформатор был религиозным рационалистом и постепенно склонялся к лютеранству – неверно. Но что верно – так это то, что царь был противником православной чрезмер-ности. То есть не любил, когда люди демонстрировали свою религиозность или ханжили, как он часто сам говаривал.

Но крещение… Крещение это такой обряд, который ханжество в себе не содержал и самой возможности демонстрировать показную религиозность не давал. Петр отнесся к крещению сына так, как и должен был отнестись к крещению сына верующий отец, т.е. как к большому событию, как к празднику.

Для самой церемонии крещения был определен Чудов монастырь. Крестить царственного младенца должен был сам Патриарх, а восприемницею была определена царевна Татьяна Михайловна, младшая дочь царя Михаила

Федоровича.

Церемония крещения! Кто же её не знает!? В Чудовом это таинство случилось, может быть, даже более праздничным и торжественным, чем обыкновенно. Ведь кого крестили-то! И Петр важность текущего момента понимал вполне. Настроение у него было приподнятое, что там говорить! И он чистосердечно обрадовался, когда увидел, что прядочка Алексеевых волосиков не утонула в купели, а поплыла. Это был добрый знак! А когда он, отец, принял на руки влажное, трепещущее тельце сына, что, надо сказать, было противу правил, то даже умилился настолько, что обронил несколько непрошенных слезинок радости, чему и сам удивился. Однако, и на крещении торжества не закончились.

16

На пятый день после Крещения патриарх Иоаким и другие высокие персоны церкви, самые родовитые бояре и большие чины приказов снова явились, чтобы поздравить царя. И, ясное дело, явились не с пустыми руками. Подарено было многое число святых икон и крестов с мощами, немало кубков для питья из золота и серебра; и соболей были поднесены многие сорока, и разных роскошных материй заморского тканья, из чего можно сделать заключение, что среди дарителей было немало именитых гостей; был и самый именитый и богатый среди всех – Григорий Дмитриевич Строганов.

Тут-то, между прочим, и разразились события, связанные с попыткой приглашения шотландца и католика Патрика Гордона к царскому праздничному столу. Каким-то образом об этой петровой затеи некие доброхоты известили патриарха. Тот воспротивился приглашению весьма рьяно. Заявил, что того-де отродясь в его жизни не бывало, что б ему сидеть за одним столом с католиком. Не было, дескать, этого, и не будет!

Петр, скорее всего, все же пригласил бы шотландца, как и хотел, но вмешалась матушка Наталья Кирилловна. Испугавшись патриаршего неудовольствия, она стала слезно уговаривать сына уступить предстоятелю. Петр озлился, конечно, но матери перечить не посмел.

Зато и сделал так, что добрый католик не обиделся: на следующий день, буквально после главного торжества – повез шотландского своего друга в

знакомые читателю уже Фили к дядюшке Льву Кирилловичу, где и были надлежащим образом крестины отпразднованы еще раз.

Но ведь и недругам своим молодой царь отомстил: на главное застолье – брата своего, царя Ивана, не позвал! Впрочем, скорее всего, тот и сам на торжество не вельми рвался – по причинам, о которых уже говорилось.

17

А в Филях – праздник вышел на славу! Главных фигурантов его было немного: всего-то трое. Стол был накрыт на немецкий манер. И даже играли на своих скрыпелках музыканты из Кукуйской – (немецкой) слободы.

Петр был очень весел и все пытался танцевать по-немецки. Гордон ему показывал. А потом и вовсе появилась партнерша. Спустя какой-то час. Дочка золотых дел мастера и отчасти книготорговца Иоганна Монса – Анна. Петр ее уже немного знал и откровенно заглядывался на стройненькую голубоглазую и веселенькую девушку. Это Гордон, зная о петровой слабости, распорядился привезти ее к столу – на удовольствие «герру Питеру».

Помимо Анхен Патрик Гордон преподнес Петру и еще подарочек – прямо скажем – необычный: шотландец, католик, он подарил Петру немецкую лютеранскую Библию и сказал при этом улыбаясь, но в высшей степени почтительно:

– Я, как Вам известно, Ваше Величество, католик. И не желал бы делать из Вас лютеранина. Но надеюсь, что Библия эта поможет Вам быстрее научиться столь необходимой Вам скоро германской речи, на которой ныне от Кенигсберга до Рейна говорят очень многие.

18

Минул год.

Младенец Алексей рос, находясь почти все время при матери Евдокии Федоровне. Так тогда было принято. Однако, заметим, что между родителями уже начался процесс, как бы мы сейчас сказали – эррозии чувств. Справедливости ради следует заметить, что процесс этот шел единственно

усилиями Петра. Тому имеется проверенный свидетель – известный человек того времени, князь Федор Васильевич Куракин, оставивший преинтересные воспоминания, из которых следует, что «изрядная любовь» Петра к жене продолжалась «разве только год».

Почему?

Кроме тех соблазнов, которые прямо вытекали из общения Петра с иностранцами и иностранками, есть еще причина: Евдокия родилась в 1669, а Петр – в 1672 году. То есть, в год рождения первенца Алексея, матери его был уже двадцать один год, а отцу – только восемнадцать. Разница в три года не могла не вызывать у Петра досады.

Но отец тогда полагал, что в том, что сын «при матери» пока вреда нет: Так малышу было «лучшее».

Сама же царица и пока еще жена, хотя и была ума невеликого, но женским своим чутьем главное, конечно, хорошо понимала. И это главное состояло в том, что муж уходил. Разумеется, она не была в силах все для себя прояснить. Но в числе вещей для неё вполне ясных был еще способ, которым она, опираясь на нашептывание своих «ближних» – Лопухиных да Стрешневых, надеялась удержать царя: бросилась рожать, рассчитывая детьми связать мужа, оставить его подле себя. В 1691 и 1692 годах она родила еще двоих сыновей – Александра и Павла, но, во-первых, оба мальчика скоро умерли, а во-вторых, выяснилось, что детьми Петра было уже никак не образумить.

Петр уходил. Уходил совсем в другую жизнь, которая ничего общего не имела с традиционною жизнью московских царей – с долгими церковными службами, утомительными выходами и приемами иностранных послов, а также частыми поездками по монастырям.

Кстати, здесь также не лишне заметить, что свекровь Наталья Кирилловна, хотя и относилась к снохе, в целом, прохладно, пока была жива, все же ревностно стремилась сохранить семью сына в целости.

В новой своей жизни, куда неотвратимо уходил Петр, он обнаруживал свое внимание к Алексею главным образом тогда, когда этого требовал календарь и не только церковный. К примеру, через год, 19 февраля 1691 года он отпраздновал День рождения наследника Алексея. Не день ангела, а именно День рождения – как это принято в Европе. И заметим, что хотя религиозный момент в том празднике был минимально обозначен – главным образом, стараниями матушки Натальи Кирилловны, – основное его содержание было вполне светским: отец и его гости активнейшим образом угощались вином.

Очевидно, что Петр о сыне не забывал. Но внимание его с точки зрения тогдашнего московского обывателя было явно недостаточным: отец стремился уменьшить масштабность, помпезность празднований.

16 марта 1692 года тезоименитство наследника царевича ограничилось только тем, что оба государя были у обедни в Московском Алексеевском монастыре.

Минул еще год.

19 февраля 1693 года, в день, когда сыну исполнилось три, Петр тоже был у обедни, но только в своей дворцовой церкви. Примечательно и то, что массового угощения вином, такого традиционного для того дня, не было. А вот заморская забава – фейерверк – был. В тот год и тезоименитство наследника торжественным выходом в Алексееский монастырь царь тоже не отметил. Хотя его ждало там множество народа. Заметим: и здесь отчетливо видно нежелание Петра часто фигурировать в утомительных православных церемониях.

20

Наступил 1694 год – год во многом ставший в жизни Петра переломным. Умерла мать. И сын с этого времени практически совершенно, даже символически, прекращает бывать с женой. Вихрь новой жизни окончательно захватил, увлек, завертел молодого монарха – прочь из теплого терема, от жаркого жениного бока в, покуда еще только потешную военную жизнь; повлек Петра на Плещеево озеро, где он впервые увидал корабельное строение; потянул и на Белое море, и на Соловки, и в Архангельск-город, заразив морем до того прочно, что уже всю жизнь уже с этой морской болезнью не расставался. От полуграмотных записок каракулями, присылавшихся время от времени Евдокиею, с робкими просьбами «пожаловать» приехать в Москву, где его с нетерпением ждут жена и сын, Петр

отмахивался, словно от назойливой мухи: «Баба – она и есть только баба и больше ничего. Что она может понимать в моих делах!» – сердился Петр. И если бы в такой момент кто-нибудь из ближнего окружения, ну, скажем, тот же Лев Кириллович, спросил бы полушутя: «Да люба ли тебе ныне Дуня-то?» – Петр, наверняка, только плечами пожал бы в ответ, ибо точно не нашелся, что сказать словами, чтобы поняли.

Все это, однако, не означало, что Петр домой дорогу забыл совершенно. Приезжал. Приезжал, но всегда неожиданно и всегда на очень краткое время. Приедет, торопясь, чуть ли не на ходу, взглянет на сына, погладит по головке, пробурчит что-нибудь вроде: «Не забалуйте мне его»… А на причитание обрадовавшейся и вместе взволнованной жены скажет недовольно: «Ну, опять слезы лить начала… Некогда мне, некогда оставаться, дела надо делать». И прочь, прочь из Москвы, опять к своим потешным да к корабликам своим…

21

Заметим опять-таки: практически порвав с женою, сына царь не забывал. В декабре 1693 года по поручению отца у иноземного купца Бастинса, были, например, приобретены некоторые товары, в том числе и для Алексея Петровича, а именно: «птичка попугай в клетке ценою в три алтына и две деньги», три птички ценою в шесть алтын, а также «гремушечка серебряная и две куклы».

Но вот наступает 1696 год – приходит к царевичу возраст, с которого по традиции начиналось обучение русской грамоте. Когда мы несколько раньше заметили, что царевич первые годы своей жизни рос при матери, то так оно, конечно, и было, хотя только отчасти. До 1694 года, пока жива была бабушка Наталья Кирилловна, ее влияние на внука оставалось немалым. Да и Алексей очень бабушку любил.

Полное засилье матери началось после смерти свекрови. И это очень хорошо было видно на примере того, кто и как обучал царевича русской грамоте.

Первичное обучение царевича Алексея отец поручил Никифору Вяземскому, «человеку простому и не очень образованному» – как писали о нем некоторые иностранцы, жившие тогда в России. Такой взгляд на первого учителя царевича в нашей литературе весьма распространен и, как мы полагаем, ошибочен.

Никифор был вовсе не так прост. Во-первых, он все-таки был хотя и дальним, но отпрыском знатнейшего рода князей Вяземских, которые вели свое происхождение от Рюрика. Можно только представить, как чувствовал себя Рюрикович в роли учителя! Самолюбие Никифора Вяземского было ранено и, притом, жестоко. Во-вторых, вследствие более чем недовольства Петром, причем недовольства, которые ни в коем случае нельзя было показывать, Никифор стал полной креатурой царицы Евдокии. Причем, царь Петр об этой роли Вяземского долгое время ничего не знал, а узнал слишком поздно.

Очевидная же заурядность самой личности Никифора Кондратьевича Вяземского говорит нам только об одном, а именно о том, что сам Петр считал обучение сына русской грамоте не столь важным делом в сравнении с образованием по западному образцу; что обучение сына русской грамоте традиционным образом не содержит еще опасности – ни для сына, ни для Петра самого. Царь полагал такое обучение нормой. Ведь и его учил грамоте Никита Зотов давно известным способом – то есть по азбуке и Часослову.

Какими же были результаты обучения наследника престола?

В середине марта 1696 года, за несколько дней до капитуляции турок в Азове, Петр посылает Н.Вяземскому письмо, в котором требует от учителя отчитаться об учебных успехах сына.

И получает ответ. Ответ позволяющий судить о том, что учебные успехи у царевича были. Он «в немногое время» постиг «совершение литер и слогов по обычаю азбуки учит Часослов». Можно также с большой вероятностью предположить, что царевич занимался и по «Грамматике» Кариона Истомина – как тогда говаривали – «естеством письмен, ударением гласа и препинанием словес».

22

Отчуждение Петра от жены имело конкретную причину, а у причины имелись и имя и фамилия: Анна Монс. Связь эта началась, по всей видимости, после 1691 года и продолжалась до 1704-го. И по мере упрочения этой связи росло стремление Петра реально удалить Евдокию из своей жизни – способом, очень известным в те времена: склонивши её к добровольному пострижению в монахини. Фарисейства в этой затее Петра было более чем достаточно. Потому

что Евдокия ни в какую не хотела соглашаться на пострижение, и одновременно не давала никакого повода в чем-либо себя заподозрить или уличить. Оставался только один способ – уговоры.

Уговаривать Евдокию Петр начал по всей вероятности после смерти матери, в 1694 году. Петр разговаривал на эту тему с женой многажды и подолгу. Но во время Великого Посольства в Англии стремление заставить Евдокию уйти в монастырь стало очень чем-то похожим на идею-фикс. Из Лондона он приказывал давить на Евдокию и Л.К. Нарышкину и Т.Н. Стрешневу, и другим. Но все напрасно. Евдокия не подавалась. После возвращения в Москву за дело снова взялся Петр сам. И был более успешен.

Одним из последних, или правильнее сказать, возможно последних таких разговоров супругов имел место в августе 1698 года. Потерявший терпение Петр прекратил уговаривать.

23

Царь прискакал тогда в Москву из Преображенского верхом в сопровождении только одного стражника-кроата. Бросив тому повод у дворцового крыльца, царь бегом кинулся по комнатам, дабы не дать жене времени запереться и сказаться больной, что уже не един раз бывало.

Ему повезло. Как снег на голову он явился в светелке, где сенная девушка спокойно причесывала царицу. Завидев царя, девушка с испуганным криком кинулась из комнаты прочь. Евдокия вслед за нею побежать не смогла. Пораженная страхом, она не нашла сил даже встать на ноги.

Это-то Петру и нужно было.

– Ну, здравствуй Евдокия! – громко сказал царь, очень довольный тем, что той никуда не скрыться, и разговор, к которому он был готов явно лучше жены – состоится.

– Чего молчишь? Или я тебе уже не люб? Так ты скажи!

– Люб. – едва слышно прошептала жена в ответ.

– Что же так тихо ответствуешь? Голос что ли пропал?

– Не пропал…

– А чего же?

– Боюсь я…

– Чего же боишься? Скажи!

– Тебя, Государя, мужа своего боюсь…

– Что же так? – веселился Петр. – Али я страшен больно?

– Боюсь, что опять сомлею со страху… Ведь ты, Государь мой, снову уговаривать явился… больше я не на что тебе и не потребна стала…

– Ну и что же ты надумала? Ведь я тебе в прошлый раз месяц еще сроку дал. Надумала чего?

– Надумала…

– Ну! – И Петр, сидя напротив жены, даже явно вперед подался – от нетерпения.

– Не хочу я…

– Не хо-о-чешь? – протянул Петр, – А ведь это я, я тебе велю, Государь и Господин твой. А ты должна волю мою государскую, как есть, исполнить. Поняла?

– Поняла…

– Ну, а коли поняла, то и слава Богу. – обрадовался Петр.

– Поняла, а не хочу…

– Уф! Опять двадцать пять… А чего ж ты поняла?

– Что ты мне указуешь…

– А что указую?

– Постричься…

– Ну и постригись!..

– С чего это? Я – честно живу. И полюбовников у меня нету. И не будет… И люб ты мне…

– Ой, ли? А хоть и так. А ты – все одно постригись. Я ведь Господин твой. Говорится же в Священном писании – «жена да убоится мужа своего». Коли я приказываю – чужие люди по слову моему в огонь и в воду идут. А ты – жена моя, а волю мою исполнить не хочешь …

– Не хочу…С какой такой стати мне себя заживо хоронить-то? Я хочу дитя наше ростить, Алешеньку…

– Так-то? – Петр очевидно терял последнее терпение. – Так-то?!

Евдокия ясно видела, как глаза Петра зажглись желтым гневным огнем. Она трусила отчаянно. Плеть конская была у царя в руках. И все же ответила, как хотела:

– Так…

– Это – твое последнее слово? – Голос Петра уже звенел зловещими струнами.

– Последнее…

Тогда Петр встал, набрал воздуху и вдруг зашипел то, о чем думал, готовясь к этому разговору. Как бы мы сейчас сказали – озвучил домашнюю заготовку. – Так вот, что я тебе, Дунюшка, на это скажу. Коли ты не пострижешься, я всею твою

родню лопухинскую, – по миру пущу! Поняла, нет?

– Как это?

– А так это: коли мне донесут тайным делом, что родня твоя – все как один – предались султану, что ты тогда скажешь?

– Правда, что ли? – в замешательстве спросила Евдокия.

– Правда.

– Уж ли сделаешь сие?

– Сделаю и не дрогну!

– Так ведь грех…

– А не исполнять царскую и мужнину волю – разве не грех?

– Напраслина всё.

– Как знать, как знать… Может, и не напраслина. А буде и напраслина, дак у меня люди такие имеются, что любую напраслину истиной представят. Знаешь ли сие?

– Ох, знаю…

Евдокия замолчала. Долго молчала. В продолжении этого молчания жены Петр сначала тоже сидел спокойно. Но когда молчание стало явно затягиваться, он встревожился: подошел к ней, спросил почти участливо: «Что с тобой?»

– Ничего. Со мною – ничего. Только и всего, что опять ты напужал меня до смерти. Боюсь я за своих. Ведь на тебя управы по всей земле нету… Сказал – по миру пустишь – и ведь пустишь… Ведь пустишь?

– Как есть пущу… А кого-то и в тюрьму. Детишек – по дальним монастырям разошлю. А землю и мужичков – на себя описать велю… Ну!

– То-то и оно… Выходит, спасения родни ради – не миновать мне идти в монастырь. Злодей ты…

– Ну, вот, хоть и так. Хорошо, уже, что согласилась ты. Помни, что скажу: уйдешь в монастырь, пострижешься по доброй воле – никого из твоих не трону. Волос не упадет. Будут себе жить как и жили. Вот. Ну, а коли забудешь это слово свое, заартачишься снова – пеняй на себя… Уразумела?

– Уразумела. Это-то я уразумела. Другого уразуметь не могу. Кого ради ты меня в монастырь гонишь? Ради какой-то немки бесстыжей!

– Молчать! – яростно рыкнул Петр. – Это – мое дело! Мое только, а не твое!

– И сына свово кровного, наследника престола, – от живой-то матери силком отымаешь… И это грех… А…А Бога, нашего Отца небесного, ты не боишься?

Петр от души рассмеялся. Он, когда надо было, умел быстро взять себя в руки:

– До Бога высоко…

– А до царя? – сделала попытку съязвить Евдокия.

Петр иронию понял, но продолжал от души веселиться. Дело было сделано…

– А зачем далеко ходить? Царь-то – вот он! Гляди! – и провел рукой по груди своей ласково. – Продолжил спокойно:

– Ты сама сказала, что на меня во всей земле управы не сыскать. Попала! Но нос к верху не дери. Не блаженная… Покуда обыкновенная…Да и рожать уже не сможешь мне. Эвон, сыночки-то мои младшенькие младенцами крошечными померли. А мне – здоровые детки нужны. Так-то-сь! – С этими словами Петр встал и вышел вон.

Самый а к т пострижение Евдокии произошел в Суздальском покровском монастыре в сентябре 1698 года. И этот факт Петр особенно прочно в тайне не хранил. Невозможно было утаить. Молва была сильнее и во всем винила Петра. Пострижение еще больше добавило энергии критикам царя «снизу». Говорили: «Что это за царь? Жену в монастырь упек насильно, а сам с немкой живет… Тьфу!».

25

Почти сразу после пострижения матери произошло и заметное изменение в положении наследника царевича Алексея Петровича. Он был отдан под опеку тетке Наталье Алексеевне и помещен на жительство в село Преображенское. В тот год царевне Наталье исполнилось только двадцать пять лет. К роли воспитательницы восьмилетнего племянника она вряд ли была пригодна. Скорее, она годилась на роль подружки, старшей сестрицы. Эту-то роль она, в общем, и играла, поскольку в большинстве поездок ребенка-царевича его фактически сопровождала в качестве очень похожем на компаньонку, с тем, чтобы мальчику не было в дороге скучно. Такую поездку племянник и тетушка в марте 1700 года совершили, например, в Воронеж, где 27 апреля присутствовали на торжествах по поводу спуска на воду знаменитого корабля «Гото Предисцинация».

26

Реальный процесс обучения грамоте Алексея Петровича и его фактического воспитания держали в своих руках совсем другие люди: Вяземские – Никифор, Сергей, Лев, Петр и Андрей, и Нарышкины – Василий и Михаил Григорьевичи и Алексей и Иван Ивановичи.

В этом своеобразном кружке не могли остаться без места и лица духовные, из которых ближе всего к Алексею стояли: Верхоспасский протопоп Яков Игнатьев, ключарь Благовещенского Собора Алексей, а также священник Леонтий Мельников, который считался официальным духовником царевича.

Все эти люди вкупе исполняли некое двуединое дело. С одной стороны – поддерживали в ребенке добрую память о матери, которая, конечно, страдает невинно, а с другой стороны, – исподволь настраивали Алексея против отца.

То была тонкая, даже, если угодно, филигранная работа, растянувшаяся на долгие годы, и настолько конспиративная, что весь её масштаб и цели открылись Петру только в начале 1718 года. Хотя, правду сказать, говорить об организованной и мощной оппозиции Петру – и тогда, да и позже – не приходится. Уж больно страшен и безжалостен был Петр в своих отместных действиях! Подумать только: ведь сам головы рубил!

Поэтому, оппозиция хотя и была, но твердой и определенной цели, авторитетных и эффективных руководителей и достаточных денег на нужные дела – не имела. Больше надеялись на случай; больше ограничивались разговорами на тему: «Что будет, если…»

27

Когда уже Великое Посольство готово было пуститься в дорогу, то есть в конце февраля или в самом начале марта 1697 года, в своем доме на Шаболовке полный стрелецкий полковник, думный дворянин и, добавим еще, давно обрусевший немец, и тайный горячий сторонник Милославских и Софьи Иван Елисеевич Циклер, будучи в предельно плохом настроении, принимал в гостях пятисотенного Стременного стрелецкого полка Лариона Елизарьева.

Плохое настроение Ивана Циклера объяснялось очень просто. Еще в ноябре прошлого года он получил царский приказ отправиться на строительство города Таганрога и далее остаться там со всем полком в качестве части гарнизона.

Иван Цыклер был в отчаянии. Ему не хотелось уезжать из Москвы, но он хорошо понимал, что пересилить царя, который стремился освободить Москву от ненавистных стрельцов, отправить их подальше от столицы, невозможно, сколь ни оттягивай всеми правдами и неправдами исполнение приказа. Уезжать – не миновать.

Полковник вопрошал Елизарьева с надеждою:

– Ныне Великий Государь едет в иные земли… А ну, как с ним что случится – кто тогда Государем будет?

Ларион Елизарьев на тот вопрос ответствовал так, что не подкопаешься: «У нас есть Государь царевич…».

Тогда Иван снова сказал:

– В то время – кого Бог изберет, а тщится и Государыня в Девичьем монастыре…

По всему видно, что хозяин гостю вполне доверял. И, надо сказать, напрасно доверял. Потому что Ларион после этого разговора сделал донос куда следует и завертелось «дело Цыклера». По делу обезглавили вместе с Цыклером шестерых, но вот что интересно: в ходе розыска выяснилось, что полковник на свою голову разговаривал еще и с Алексеем Прокофьевичем Соковниным, известным боярином и упорным раскольником. И в том разговоре уже обсуждалась не надежда на случай, а действия, если Государь будет убит.

На вопрос Цыклера: если удастся убрать Государя, – кто «будет на царстве»? – Соковнин ответил:

– Чаю, они возьмут по прежнему царевну, а царевна возьмет царевича, и как она выйдет, она возьмет князя Василия Васильевича Голицына и князь Василий по-прежнему станет орать».

В этой тираде для автора, пожалуй, все ясно, кроме одного слова. Что значит «орать»? Думается, что, по крайней мере, в данном случае – отнюдь не «кричать». Есть и еще у этого слова смысл – «пахать». В понимании Соковнина, видимо, «работать», «трудиться».

28

Итак, главной фигурой во всех этих надеждах на случай оставалась опальная царевна Софья Алексеевна. Вырисовывается и основная идея: если Петр будет убит, то власть берет Софья, на престол садят номинальную фигуру – царевича Алексея, а регентша назначает первым министром Государства своего доверенного В.В.Голицына, которому когда-то сама определила должность и титул: «Царственных Больших Печатей и государственных великих посольских дел оберегателя».

А теперь – давайте-ка поразмыслим.

Вопрос такой. Могли ли противники Петра думать над тем, как взять власть в свои руки в то время, когда царь находился за рубежом? Думается, что да. А если да, то тогда еще один вопрос: «Почему они не попытались сделать это дома?».

А почему не пытались… Пытались… Расчет был, например, на толпу, которая могла задавить царя, или на пожар…В Москве Петр любил бывать на пожарах, распоряжаться людьми. Предполагалось, что в это-то время и мог явиться случай в толчее, в толпе, либо выстрелить в царя, либо попытаться заколоть его ножом. И пожары были, и толчея на них была… Случая не было. Потому что князь-папа – Федор Юрьевич Ромодановский шанса не дал.

Вопрос третий. А готовилось ли реально убийство царя за рубежом?

Отрицать саму возможность подготовки такого покушения мы не можем. Почему? Потому что убийство царя за рубежом решало бы проблему даже лучше, чем аналогичное действо внутри страны. И, прежде всего, потому, что немедленный розыск там нельзя было провести с той свирепостью и в тех масштабах, которые обычно приносили успех дома. Это не могли не понимать враги Петра. Но для этого они должны были найти и подготовить убийцу, а также создать ему группу прикрытия. Думается, что даже после того, как нашли бы исполнителя и создали группу, далее все равно возникли трудности, которые очень нелегко было преодолеть. Потому что нужно было внедрить этих людей в состав Великого Посольства, а это была задача в высшей степени сложная, если вообще решаемая.

29

Дело в том, что состав Посольства, скорее всего, комплектовался только из твердых сторонников Петра. Каждая кандидатура смотрелась индивидуально, и при малейших сомнениях – отводилась. Ибо, как следует предположить с большой степенью вероятности, в Петровском окружении вполне могли допускать, что противники царя будут пытаться внедрить своих людей, способных на черное дело.

Конечно, все это не более, чем гипотеза. Если бы попытка убийства Петра в то время действительно была, то в процессе розыска, после возвращения царя из-за рубежа, она, эта попытка, конечно же, была бы розыскана и исследователи об

этом бы знали. Стало быть, таких людей в составе Великого Посольства не было, и они специально не готовились. Так что ли?

Не будем торопиться. Потому что один человек все-таки был. Это Александр Васильевич Кикин – один из знаменитой группы волонтеров. Во всем «деле царевича Алексея» он стал одним из главных вдохновителей и организаторов, если не самым главным. Но это – позже. И если бы ему кто-либо по пути в Европу вдруг взял бы, да намекнул только хотя бы, что он, Кикин, будет в 1718 году колесован за попытку спрятать в Австрии царевича Алексея Петровича, он посчитал бы такого провидца провокатором и потащил бы его к бомбардиру Петру Михайлову – разбираться.

Но ведь этого тогда еще никто не мог знать. И потому мы можем определенно сказать, что лихих людей в составе Посольства действительно не было. Прежде всего потому, что почти все из тех, которые противостояли Петру в верхах, были очень трусливы и особенно боялись розыска.

30

Но ведь читателя, даже и в связи со всеми нашими допущениями, должен интересовать в первую голову Алексей Петрович… Действительно, а в какой мере, в каком качестве его рассчитывали реально использовать? Или еще точнее: «Можно ли, исходя из ситуации в России, сложившейся в конце девяностых годов XVII века допустить положительные, с точки зрения противников Петра ,возможности подготовки царевича?

Можно. Есть факты. Стрельцы ведь уже в 1698 году были уверены – «Царевич немцев не любит». Вот так. Отец, стало быть, любит, а сын – не любит…

31

Итак, не реализовав во время отсутствия Петра идею государственного переворота в пользу Софьи и не получив шанса убить царя за границей, эти люди не имели ничего другого из возможностей, как постепенно формировать ставку на царского сына; ставку не определенную еще ясно, трусливую и потому – тщательно скрываемую. Но что еще характерно: сам царевич в свои восемь-девять лет не понимавший ничего или почти ничего в той игре, которая начиналась вокруг него и по-поводу него, на авторский взгляд, ну просто

органически этой игре соответствовал? Почему?

Во-первых, потому, что всегда и очень боялся отца. Почему? Потому что не был в силах, и притом постоянно, соответствовать высоким отцовским требованиям.

Во-вторых, потому, что только в своем круге его жалели, ему сочувствовали и часто напоминали о матери. Одной из таких ближних фигур вокруг Алексея обретавшихся и которые прямо или косвенно эту миссию исполняли, был Яков Игнатьев. Прежде, чем попасть в число ближних царевича, он двадцать лет прослужил в Москве – сначала дьячком, потом священником в Верхоспасском дворцовом Соборе в Кремле. Он возымел на Алексея такое большое влияние, что последний ему писал в 1700 году: «Не имею во всем Российском Государстве такого друга и скорби о разлучении, кроме вас, Бог свидетель»…

И, в-третьих. Царевич уж очень приохотился ханжить. Читатель уже знает, что это слово означало в словаре Петра. Хотя, смею сказать, для самого Алексея увлечение церковью не было показным излишеством.

32

Как эти очевидности в поведении сына своего воспринимал отец?

О робости царевичевой царь знал. И это ему, конечно же, не нравилось. Но он, скорее всего, считал это поправимым. Со временем.

О ханжестве Алексея отец тоже знал, и это его настораживало, потому что, как он, вероятно, полагал – не сулило ничего хорошего. Но он, скорее всего, думал, что и эти черты натуры сына можно разрушить реальным европейским образованием.

Наверное, в таком отношении отца к личности своего сына были свои резоны. Но Петр тогда, в конце девяностых годов, ничего не знал о целеустремленной психологической обработке Алексея; не знал о том, что из сына уже начали готовить противника, даже более того – врага отцу, и всем, без сомнения, великим отцовским делам и планам.

Часть вторая

повествующая о том, каковы были царевичевы домашние учителя, а также о том, как и какие закладывались самые первые камни в основание сыновней ненависти

1

Решение Петра дать Алексею европейское образование было, разумеется, верным. Потому что новой России нужны были и новые правители, правители нового типа. Для того, чтобы такого правителя сделать из Алексея, его нужно было отправить учиться за границу. Его нужно было вырвать из российской, вернее, старой московской среды, которая и самому Петру в то время уже стойко не нравилась.

Для того же, чтобы отправить Алексей «за море», нужно было раньше найти человека, необходимого для сопровождения и надзора за сыном – образованного, умного и доверенного иноземца. И такого человека Петр нашел. Это был генерал Иосиф Карлович. Он был генерал-майором, посланником Саксонии в Москве и доверенным лицом Августа II Сильного – саксонского курфюрста и по совместительству – польского короля.

С Карловичем Петр решил вопрос и куда поедет Алексей постигать иноземную науку: он поедет в Дрезден. Выбор, конечно, не случаен. Дрезден ведь столица Саксонии – союзницы России в войне против Швеции. Но с началом войны грянуло несчастье: при штурме саксонскими войсками Риги в марте 1700 года генерал Карлович погиб. Но ведь самый процесс освоения Алексеем иноземной науки откладывать никак было нельзя. Требовалось сыскивать учителей и иноземцев в российских, домашних условиях. Стали сыскивать. И сыскали – некоего Мартина Нойгебауэра; причем, некоторые считают, что сей Нойгебауэр был рекомендован Петру…. Карловичем.

Мартин был личность своеобразная и о нем надо бы поведать подробнее, подключив, там, где необходимо, для полноты картины авторский вымысел.

Лет этому немцу было тогда, может быть, несколько больше тридцати. Он был заметно выше среднего роста, сутулый и костлявый, с большой шишкастой

головой и длинными руками, которыми он был постоянно занят, ибо не знал, куда их деть. Ничего красивого в его лице не было: желтоватые волосы, большие водянистые глаза, которые только с некоторою натяжкой следовало бы признать голубыми, и голос – глухой и бесцветный. В общем, типичный померанский немец.

По-русски Нойгебауэр разговаривал совсем даже неплохо: медленно, конечно, но слов наших немало знал. Правда, он, как все немцы из германских земель сильно оглушал звонкие согласные. У него выходило карашо, вместо «хорошо» или терево вместо «дерево». Но все это были, согласитесь, несущественные мелочи. Для нас важнее вопрос о том, что собою представляло его образование, был ли он образованным человеком? Вряд ли на это вопрос можно ответить удовлетворительно. Потому что – хотя он и называл себя «философом, историком и латинистом», но бумаг его – дипломов и патентов – никто не видел, поэтому, скорее всего, было так: он, по всей вероятности, все же учился в каком-то немецком университете, но курса не кончил. А поскольку он нигде, кроме как у русских не мог пускать пыль в глаза своею ученостью, то к нам и приехал.

2

Получивши себе в подопечные наследника русского престола, он – и без того человек спесивый, голову задрал кверху – не достать!

Более того. В подтверждение своей высокой педагогической квалификации он немедленно разругался со всеми русскими наставниками Алексея Петровича. Что там говорить!.. Основание для недовольства у Нойгебауэра в отношении обучения мальчика были. Ведь даже в его недоучившейся немецкой голове сложился бесспорный вывод: в обучении Алексея уже упущено немало времени. Ссоры между педагогами начались с лета 1702 года.

Немца особенно возмутило то обстоятельство, что бывший главным надзирателем за обучением Алексея «Данилыч» – Меньшиков, тогда еще и сам, считай, не умел толком ни читать, ни писать.

Опасаясь открыто критиковать Меншикова, Нойгебауэр сосредоточился на других учителях. Он жаловался: «Они меня царскому величеству оклеветали, будто я по две недели сидя, пью и весьма к царевичу не хожу». И злился: «Собаки, собаки! Я вам сделаю, как Бог мой жив, так я вам отомщу!».

Критика должна помогать делу. Так думал немец, но немец не знал, что критиковать Меншикова, даже и косвенно, нельзя было не в коем случае.

Граф Меншиков, задетый за живое, в отместку, немедленно распорядился «за многие его (Нойгебауэра – Ю.В.) неистовства» ему «от службы отказать и ехать без отпуска куда хочет». Однако, Нойгебауэр не поторопился собирать пожитки, а еще целых два года из русских пределов ехать не хотел, добиваясь какой-нибудь службы. И даже предлагал свои услуги в качестве… главы российского Посольства в далекий Китай.

Но – не талан! Не получив ничего, он, все-таки был вынужден уехать на Родину. Но на Родине, то есть в Померании с ним произошла разительная перемена. Считая себя русскими несправедливо обиженным, (а надо заметить, что Померания к тому времени была – по крайней мере, частично – оккупирована шведами), он предложил свои услуги оккупантам. И, разумеется, не в качестве философа, историка и латиниста, потому что пускать пыль в глаза шведам по поводу своей образованности – этот номер уже не проходил. Он стал предлагать свои услуги как специалист по России. И преуспел в этом: благодаря некоторому реальному знанию Московии, он стал сначала одним из секретарей Карла XII, а позже достиг должности канцлера шведской Померании. Но и это – не всё. Мы еще столкнемся с Мартином Нойгебауэром, по крайней мере однажды. Точнее, не с ним самим, а с результатом его литературной деятельности. Но несколько ниже.

3

Нойгебауэра выгнали. Ему на смену довольно скоро был сыскан новый иноземный наставник Алексею – барон Генрих фон Гюйссен, которого имевшие с ним дело русские быстро «переименовании» в более удобного в произношении Гизена. Доктор права Генрих фон Гюйссен выгодно отличался от Нойгебауэра и был, по-видимому, по-настоящему образованным и неглупым человеком. Наверное, и внешний вид его был вполне европейским – парик, камзол, обувь и манеры были вполне и постоянно на высоте.

Но Гюйссен не получил Алексея сразу. Вернее, получил, но обстановки, благоприятной молодому человеку для занятий обеспечить не мог. По причинам, как говорится «от него не зависевшим». Дело в том, что Петр решил взять сына с собою в армию. «В поход», как тогда говаривали. И Гюйсен должен был отправиться с Алексеем.

Здесь, в армии, среди русских военных, Гюйссен сумел вполне расположить к себе Петра; так что отец с бароном был вполне откровенен и проникся к тому доверием, причем настолько, что однажды сказал этому иностранцу: «Самое лучшее, что я мог сделать для себя и для своего государства – это воспитать своего наследника. Сам я не могу наблюдать за ним, поручаю его Вам». Фраза эта звучит как правильный перевод, скажем, с немецкого. Не русская это фраза, не из уст Петра. Скорее всего, её содержание предано иностранным свидетелем разговора. Может быть, даже самим Гюйссеном. Произошел этот разговор летом 1764 года, во всяком случае – не позже.

Из тирады Петра вытекают два вывода:

– отец сознавал важность европейского образования сына;

– отец также понимал, что сам он не может заниматься Алексеем в силу занятости, а может быть и в силу недостаточности собственного образования.

Более того.

Вероятно, вследствие уже упоминавшегося расположения, которым воспылал к Гюйссену Петр, последний поручил ему в это время еще два дела, причем, по крайней мере одно – в высшей степени тайное и ответственное: найти для царевича Алексея Петровича невесту.

4

«Не рано ли?» – скорее всего спросит сию минуту читатель. Отвечаем: нет, не рано. Потому что речь идет о династическом браке, а у него есть свои особенности. Любовь и прочие нежности тем, кто находится в династическом браке могут оказаться и ни к чему. На первое место в таком браке выдвигается

Политическая целесообразность.

Петр твердо решил невесту для сына искать не дома, а в Европе.

То есть, занял позицию прямо противоположную той, которую в вопросе о браке в начале своего правления имел Иван Грозный. Тот сказал прямо, что не желает

жениться на иностранке, так как опасается отсутствия взаимопонимания с женой. В конце жизни Грозный эту точку зрения изменил. Но для нас крайне важно, что уже начиная с Бориса Годунова, московские государи целеустремленно пытались породниться с августейшими семействами западной Европы.

Достаточно вспомнить хотя бы попытку Михаила Федоровича, деда Петра, отдать дочь Ирину за графа Голштинского Волмера-Вальдемара. Но она и все иные попытки такого рода до поры оставались безуспешными. Казалось, что великие времена Ярослава Мудрого в брачном смысле воротить невозможно.

Но Петр уже не просто совершал очередную попытку, которая была обречена. Он рассчитывал, что у него попытки есть шансы на успех. И, как оказалось, совершенно резонно рассчитывал. Потому что русская земля не была уже той ужасной Московией, которую за рубежами не знали, которую побаивались, и над которой, как только могли, потешались. Русская земля становилась нолвым государством, – с набирающей силу армией, с крепнущим флотом, а с этими факторами иностранцам надобно было уже считаться. Вот почему у устремлений Петра найти сыну невесту на западе были шансы на успех. Были! Петр это чувствовал и понимал. Иначе не ставил бы эту задачу. Иначе не стал бы Петром Великим и императором.

5

Но отдавая сына иноземцам для учения, генеральную линию, линию воспитания у сына монаршего мировоззрения, отец стремился держать в собственных руках. Доказательством этого мы вполне можем считать яркое

Общее наставление, которое сделал отец сыну сразу же после взятия Нарвы – либо уже в самом городе, либо в русском осадном лагере 9 августа 1704 года. Петр тогда сказал Алексею следующее: «Сын мой! Мы благодарим Бога за одержанную над неприятелем победу. Победы – от Господа, но мы не должны быть нерадивы и все силы должны употреблять, чтобы их приобресть. Для этого я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Поскольку я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру.

Ты должен, при твоих летах любить все, что содействует благу и чести Отечества, верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего. Так как мне невозможно всегда быть с тобою, то я приставил к тебе человека (Гюйссена – Ю.В.), который будет вести тебя ко всему доброму и хорошему. Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и примешь правилом жизни страх Божий, справедливость и добродетель – над тобой всегда будет благословение Божие, но если мои советы разнесет ветер и ты не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном и буду молить Бога, что бы он наказал тебя в этой и будущей жизни».

И снова автор обращает внимание на то, что язык этого наставления таков, что принадлежит будто и не Петру. Текст значительно приближен к современному русскому языку, из чего мы можем сделать вывод, что это – запись иностранца и, может быть, самого Гюйссена. Содержание этой речи Петра мы полагаем очень важной; она требует комментария.

6

Во-первых, – вдумаемся – в ней весьма ясно звучит угроза: «…я не признаю тебя наследником» И определяются условия, при которых это может произойти: «…если мои советы разнесет ветер»… и т.д. Но угроза звучит здесь не реалистически, а как бы профилактически. Ибо реальных данных об участии сына в действиях против отца нет, потому что нет самого участия. Наоборот. Реакция Алексея на речь Петра была совершенно адекватной: сын бросился целовать отцу руки и клясться, что будет делать все как говорит отец, во всем следовать и подражать ему. И, думается, что в те минуты сын был совершенно искренен. Тогда, в августе 1704 года царевич чистосердечно хотел стать продолжателем великого отцовского дела.

Но царь Петр – политик реалистический. Он уже избавился от угрозы – и не одной – заговора против себя. И понимал, что по мере того, как Алексей растет и зреет, растет и зреет вероятность подключения сына к неизбежным будущим заговорам. Он еще не знает, что и как в этом смысле произойдет, и поэтому впрок пугает сына. Так, на всякий случай. Однако напомним: до реальной реанимации ненависти сына к отцу осталось каких-нибудь три года: в 1707 году Алексея тайно повезут в Суздаль и устроят ему свидание с матерью. Не из соображений человеколюбия повезут, а истинно для того, чтобы сильно ослабевшая, даже, возможно, практически исчезнувшая ненависть к отцу

вспыхнула в сыне с новой силой; чтобы сделать сына уже реальным противником, даже врагом отца и всех его великих и славных дел.

7

После взятия Нарвы Петр отправил Алексея домой – вместе с Гюйссеном – продолжать обучение.

Для отца стало ясно, что чем более «западным» станет образование сына, тем больше у отца шансов впоследствии заполучить Алексея в союзники.

Гюйссен непосредственно занимался с Алексеем до самого начала 1705 года – когда барон выехал за границу. У нас будет еще далее случай подробно рассказать о том, почему и зачем он покинул пределы России. А пока обратим внимание на то, какого мнения Гюйссен был о знаниях и способностях к учебе своего подопечного.

В письме к царю барон пишет, что царевич шесть раз прочитал Библию: пять раз по-славянски и один – по-немецки. Если верить Гюйссену, юноша прочел всех греческих отцов церкви и «все духовные и светские книги, которые когда либо были переведены на славянский язык». По-славянски и по-немецки царевич говорил и писал хорошо. Резюме просвещенного наставника: «Царевич разумен, далеко выше возраста своего, тих, кроток и благочестив».

Автору представляется, что в части количества прочитанного Алексеем немало преувеличений. Но оставим их на совести ментора: он явно дает понять, что сделал для обеспечения сих успехов немало. Хотя согласитесь, что можно достичь за полгода, в действительности, как с улыбкой замечает С.М.Соловьев, ограничиваясь «одним преподаванием слегка»?

Иное дело – перспективная программа обучения, составленная Гюйссеном. Составитель отлично знал, какие знания нужны будущему монарху. Согласно этой программе, царевич должен был владеть французским и немецким языками, основательно изучить географию и математику. Далее, кроме «слога» – то есть ораторских навыков и умения ясно излагать свои мысли на письме, программа предусматривала «изучение предметов о всех политических делах в свете и об истинной пользе государств Европы, в особенности, пограничных».

Мы уже упоминали о том, что с этого времени, т.е. 1704 года контакт наставника и ученика на время был потерян. Потому что барон Генрих Гюйссен выехал по государевой воле за границу.

8

За рубежом Гюйссен свершил два важных дела. О поисках невесты для царевича речь пойдет несколько далее. А сначала – вот о чём. Читатель, верно, помнит померанца Нойгебауэра?

Так вот.

Ставши одним из секретарей шведского короля, тот, скорее всего, по поручению Карла XII (впрочем, не исключается инициатива самого Нойгебауэра), написал и выпустил в свет печатное сочинение об удивлении и порицании достойных чертах русской жизни, коим Нойгебауэр был свидетелем, когда жил в России.

Брошюра Нойгебауэра увидела свет в 1704 году. Называлась она так: «Письмо знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владетеля о дурном обращении с иностранными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе на службу». Памфлет был с избытком нагружен русофобией.

В 1706 году, по поручению или с согласия царя, Гюйссен напечатал контрпамфлет, который тоже весьма длинно назывался: «Пространное обличение преступного и клеветами наполненного пасквиля, который за несколько времени перед сим был издан в свет под титулом «Искреннее письмо знатного немецкого офицера»…

Гюйссен именует автора этого письма архишельмой, а уверения последнего, что в России дурно обходятся с иностранными специалистами опровергает тем, что если бы такое дурное обращение было, то о нём Европа узнала бы не из пасквиля, а из газет и публичных актов и «государи отплатили бы за оскорбление своих представителей». Таким образом, Гюйссен опровергает факт за фактом и даже утверждение Нойгебауэра о дурном отношении к царевичу Алексею со стороны Меншикова. Барон пишет уверенно: «С царевичем Алексеем Меншиков и министры обходятся чрезвычайно почтительно, но сам царь приказывает, чтоб сына его в молодости не баловали чрезвычайным ласкательством». Это – по всей видимости, чистая правда и вполне в духе Петра.

Подобные открытия России иностранцами, предназначенные для тех, кто никогда в Московии не был и не будет, в Европе случались. Достаточно вспомнить памфлет Григория Катошихина о временах Ивана Грозного, в котором тоже было, мягко говоря… не всё верно.

9

Слухи о том, что Петр хочет отправить сына учиться за границу, вышли в Европу и немедленно стали обсуждаться ещё в самом начале XVIII века, когда Пётр думал сделать это еще под надзором Карловича. И толки об этом были различные.

Иерусалимский патриарх Досифей в 1702 году писал Петру: «Еще доносили и сие, что пришли сюды (то есть в Иерусалим – Ю.В.) письма из Вены и пишут, что пошлет Ваше Царствие сына своего Алексея Петровича туды обыкновения ради и учения; внемли не высылать из Москвы сына вашего, да не пойдет в чужие места и научится не обыкновению, но иностранным нравам». Церковь явно чувствовала угрозу.

Что касается Австрии, то она действительно, еще в 1702 году хотела бы заполучить царского сына к себе. Князь Петр Голицын писал царю в феврале 1702 года из Вены: «Граф Кауниц говорил мне, чтобы вы сына своего прислали в Вену для науки, и что до цесаря дошел слух, что вы обещали послать королевича к королю Прусскому и в другие места, что очень огорчило цесаря. И Кауниц также сказал, что если бы царевичу понравилась какая-нибудь эрцгерцогиня, то цесарь с радостью выдал бы её за него, только была б ваша воля».

Воистину, другой стала Московия!

10

Теперь уже и европейские монархи намекают, что и сами не прочь породниться с царем московским. О богатствах московских сокровищниц на Западе ходят легенды. Однако, на практике Гюйссену решить проблему царевича было нелегко. Немалое время он зондировал почву то там, то здесь – и безрезультатно. Пока ему реально не помог датский дипломат барон Урбих. Датский король Фридрих, незадачливый союзник России в войне против Швеции,

стремясь показать свою, потаенную от Карла приязнь к Петру, распорядился помочь в поисках невесты для царевича. Вариант нашли. И вариант, который находился довольно близко. Кандидаткой в невесты стала старшая из двух герцогинь Брауншвейг-Люнебургских, кронпринцесса Брауншвейгшвейская и герцогиня Вольфенбюттельская София Шарлотта. В 1706 году ей было только 13 лет и жила она воспитанницей при дворе жены саксонского курфюста Августа II Сильного, тоже, как известно, союзника Петра и тоже – незадачливого.

Предварительный брачный договор о браке был подписан 27 января 1707 года.

11

Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление – дабы попытаться ответить на вопрос о том, стала уже или еще не стала проявляться двойственность в поведении царевича, который должен был сторонникам старины симпатии показывать и отцовские поручения со тщанием исполнять. По крайней мере, в 1707 году и даже попозже это у него получалось в целом неплохо.

Но в народе появляются стойкие слухи о том, что царевич с отцом своим «не за одно». Говорили: «Царевич на Москве гуляет с донскими казаками и как увидит которого боярина, и мигнет казакам, и казаки, ухватя того боярина за руки и за ноги, бросят в ров. У нас государя нет; это не государь, что ныне владеет, да и царевич говорит, что мне не батюшка и не царь».

Что это? Это не что иное, как народные слухи, в которых всегда звучала не только, и даже не столько реальность, сколько желаемое, которое выдавалось за действительное. Хотя, может быть, и неполная выдумка. Наверняка от реальности что- то было.

Сам же Петр в это время относился к сыну очень хорошо. Когда в начале 1707 года царевич заболел, Петр писал А.Д.Меншикову: «Я бы вчерась в Ахтырку поехал, но остался для болезни сына моего, которому сегодня мало лучшее».

В то время и сын тоже был добросовестен по отношению к отцу, и, по крайней мере, открыто – со рвением исполнял возложенные на него отцом функции соправителя. Когда в Москве было получено сообщение «о неслыханной виктории» под Полтавой, царевич Алексей Петрович «созвал к себе на банкет всех иностранных и русских министров и знатных офицеров и трактовал их

великолепно в Преображенском в апартаментах своих и в шатрах».

12

Хотя брачный договор, о котором шла речь выше, был делом тайным, московские ненавистники Петра узнали о нем практически сразу. Скорее всего потому, что среди близких к Петру людей у них имелся осведомитель, быть может, даже не один. Кто? Сию минуту у автора есть только одно предположение – Долгорукие. Один из них Василий Владимирович был сторонником царевича и его окружения; а получить сведения о договоре он мог от Василия Лукича Долгорукого. Они были в разных политических лагерях, но родственных отношений не рвали.

Получивши сведения о сделке, оппозиционеры совершенно ясно поняли, что женитьба уведет сына к отцу навсегда. И контрмера была сыскана. Решено было свозить Алексея к матери, в Суздальский Покровский монастырь, полагая, что этой акцией удастся обновить любовь Алексея к матери и ожесточить сына по отношению к отцу. Тем более, еще раз повторяем, что для противников Петра тогда было совершенно очевидно: если не удастся ожесточить сына по отношению к отцу, то все надежды и расчеты на возрождение в России любезнейшей старины придется окончательно и бесповоротно похоронить.

И потому – прежде всего – Суздаль!

Наступил Сочельник 1707 года – или, говоря по-русски – Святки. Дни эти у православных по традиции – время веселое, праздничное. Съедалось и выпивалось на Святки помногу.

13

Вечер. Тихо и покойно в комнатах царевича. Хотя, полной темноты все же нет – из-за киота со многими иконами у него в спальне: перед каждою лампадочка светится красноватым своим огоньком. Только-только отстоял Алексей в ночной своей рубашечке, вышитой тетушкой Софьей давным-давно – перед киотом, отстоял добросовестно, прочитавши – четко, вслух, не торопясь, все положенные православному вечерние молитвы.

И вдруг – стук в дверь! Боже ты мой! Только что подошел Алексей ко кровати своей чистенькой, как снова надобно идти и отворять. А ведь он уже и на засов

дверь закрыл.

Вообще-то – открывать да закрывать двери дело сенного паренька – ночного, особого. Но нынче царевич в спальне один. Ведь Святки! Вот сенной паренек, и, как Алексею известно, из дальних Нарышкиных (родственник, значит) отпросился в семью. Объяснил, что у них нынче молодежь гадать будет. Ну и пусть себе позабавится. Алексей не маленький. Ничего с сыном царевым не станется. Во дворце в Преображенском всегда полно стражи. Прибегут, если что… Тем более, что стук-то был свой – три скорых и два в растяжечку. Стало быть, без опаски можно отворять. Он и отворил. Ах, батюшки-светы, радость-то, какая! Отец Яков пришел-пожаловал. Три целых денька где-то пропадал, и вот, наконец, объявился!

– Где пропадал?

– Болел я, болел, сударь мой Алексей Петрович… Не хотел тебе праздники портить своею болезнью… Зато теперя – попразднуем! Святки – время веселое! Хочешь, съездим на охоту. А? Зайчишек погоняем… А хочешь – в Троицу… Там нас с тобою всякий день ждут… Архимандрит, вон, письмо вчерась прислал, спрашивает, пошто, мол, не едешь… Хочешь?

– Хочу! отвечает Алешенька. – Он живо представляет уже себе, как резвые кони скоро несут его по зимней дороге и как летит плотною тучей снежная пыль за санями; как лихо гикают и свистят, подгоняя лошадей, ямщики.

– Хочу. – повторяет Алексей.

– А как прикатим в Троицу сведут тебя, милостивого, в вифлиофику и дадут честь Пятикнижие Моисеева на пергаменте писанное во времена Великого князя Дмитрия Ивановича… Хочешь?

– Хочу. А когда?

– Скоро…отвечает отец Яков, старательно показывая Алексею помрачение лица своего. – Вот только у смотрителей наших позволения получим – и в путь отправимся…

– А каких-таких смотрителей спрашивать? – почти шепчет Алексей, а сам-то ведь знает, знает о каких смотрительных речь идет. Но он также знает и для чего надобно тихо и тревожно спрашивать. Надобно почаще вызывать умиление у тех, кто его, Алексея, жалеет. Надо показывать наивность, показывать себя не дорослым, а отроком малым еще… Вот и отец Яков ловится в сети Алексеевы намертво:

– Каких? – тихо переспрашивает Яков, и на глаза его наворачиваются слезы:

– А таких, которые смотрят во все глаза, боятся как бы ты без их воли куда не уехал, и без ведома их кого не увидал…

– А кого?

– Ну мало ли… А все одно смотрят. Вовсю мочь поди-ко зенки-то дерут. Будто ты и не наследник трона отцовского, а заточник опасный какой…

– А ну, как не получим позволения? – спрашивает Алексей с рассчитанным страхом в голосе. Тогда что?

– Получим-получим, не изволь беспокоиться…

– А когда?

– А сего дня и получим. А завтра с утречка, с Божьей-то помощью и в путь двинем, не замедлим нисколечки…

14

Все сталось так, как и обещал отец Яков. Позволение на поездку получили. А почему? Скорей всего, потому, что и в Преображенском, в самой прочной Петровской цитадели, у противников царя были нужные люди. И не из последних.

К поездке надо было вставать затемно. А Алексею этого очень не хотелось. Любил понежиться в постели, что там говорить… Но и ласковый, и уступчивый, и предобрый обыкновенно, отец Яков был на сей раз весьма тверд. И на хныканья

Алексея (а ведь отроку шел семнадцатый год!) – не грубил, не досадовал даже; просто показал, что может быть и настойчивым, даже непреклонным. Потому и смогли выехать еще затемно.

Помчали сначала на Мытищи. А от Мытищ – на Троицу. Ехали чрезвычайно скоро. До того скоро, что Алексей Петрович отметил про себя в Троице, что лошади их были в мыле.

В Лавре остановились на очень короткое время – не более часу. Пока Алексей и отец Яков прикладывались к мощам Преподобного, и малость закусывали, – лошадей переменили. И уж на что из Преображенских-то конюшен царские лошади хороши были, – Алексей ревниво опять-таки про себя определил (а он в лошадях понимал), что монастырские-то лошадки лучше были.

– Куда едем? – весело спросил Алексей. От отца Якова, человека наиближайшего, он ни в каком случае подвоха не ожидал. Но отец Яков на вопрос царевича не ответил, а перевел разговор на другое: стал со смехом рассказывать о том, как веселился он в молодости на Святках, как старший брат напоил его однажды брагой допьяна и что потом было.

А лошадей-то почти гнали вскачь, а как они начинали уставать, в нужном месте ждала подстава со свежими. И меняли скоро, не мешкали.

Тут только до царевича самого дошло, что поездка готовилась задолго и тщательно, и что, скорее всего, и болезнь свою Яков придумал, а занимался этим Алексеевым путешествием

Досужий царевич выждал еще некоторое время и снова спросил, постаравшись, чтобы тревога в его вопросе не прозвучала:

– Куда же мы едем?

Отец Яков ответил, но ответил не сразу:

– В Александровскую слободу

Алексей в свои годы уже неплохо знал русскую историю. Он знал, что слобода тесно связана с Иваном Грозным. Но они-то зачем туда едут?

И вдруг, он вспомнил. Ведь в слободе, под надзором еще не так давно жила царевна Марфа, тетка самому Алексею и сводная сестра отцу.

Обе тетушки – и Марфа, и Софья оченно хотели стрельцов на отца поднять. Известно, чем все это закончилось… Софью отец в Девице запер, а Марфу в слободу сослал. Правда, там же и еще одна их сестрица на кладбище монастырском покоится – Феодора, – кровная, между прочим, ему Алексею. Вспомнил, понял все это Алексей и успокоился. Понял, куда везут: тетушкам на поклон.

Но опять все пошло как-то неясно. В слободе остановились, лошадей сменили, однако на поклон к Марфе и Феодоре не пошли, хотя и назад не повернули. Всю ночь опять лошадей гнали с факелами и даже в темноте, в поле чистом сызнова меняли лошадей. Промчали лихо и Кольчугино, и Небылое. Тут только отец Яков и открыл все царевичу:

– Ты, Свет-Алешенька, спрашивал давеча – куды едем. Отвечу теперя. Теперя – можно… Мы к матери твоей едем, в Суздаль… Не забыл ты её?

15

– Не забыл. – тихо ответил Алексей. Хотя всего-то у него и осталось в памяти – кроме самого факта, что мать в монастыре (об этом ему, хотя и изредка, но напоминали), только что-то невообразимо хорошее и горькое одновременно.

– Вот и хорошо! Вот и славно! – забирая в голос сколько возможно радости и даже восторга, ответил отец Яков. – Матерь свою надоть помнить завсегда, даже почившую. А ведь твоя-то матушка Евдокия – не мертвая, а живая. И постриг приняла не по своей воле.

– А по чьей?

Ответ Якова был такой:

– Не надо бы сказывать. Запрет на сие имеется… Но ведь и не сказать правды – тоже грех, и грех великий…

– Скажи!

– Ин, ладно. Только уговор: рот на замок. А коли откроешь – мне худо будет.

– Не скажу… Святый истинный крест – не скажу! – И царевич истово перекрестился.

– Ну ладно. Так и быть. Скажу. Слушаешь, ай нет?

– Слушаю…

Отец Яков перешёл почти на шепот – будто боялся, что кто подслушает. Кучер однако, того о чем говорили в возке слышать никак не мог. Проверяли и не раз.

– Матери постричься отец твой велел.

– А чего ради – ведаешь ли доподлинно?

– Ведаю.

– Ну?!

– Из-за бабы. Немки одной. Влюбился он в нее, видишь ли… Чары она на него немецкие напустила. И стала матушка твоя отцу ненавистна. И стал отец её изводить. И извел до того, что она против воли приняла постриг.

– Как это?

– Заставил. Он любого заставит. Царь.

В возке наступила тишина. Молчал Яков. Молчал и Алексей. Потом Алексей сказал тихо:

– Он сердиться будет…

– Кто?

– Батюшка. Как узнает, что в Суздаль меня возили.

– Не узнает. И никто не узнает. Мы ведь не скажем никому? Не скажем, верно?

– Не скажем. А коли тебя стращать начнут, скажешь. – спросил в голосе с дрожью царевич.

– Нет.

– А коли пытать станут, розыск откроют?

– Нет.

– И я тоже… никому не скажу… – тихо сказал царевич.

– Славно! Славно… – ответил отец Яков и приобнял Алексея за плечи.

Снова помолчали. После чего отец Яков спросил озабоченно:

– Что ты носом-то все дергаешь?

– Прохудился. – ответил Алексей.

– Простыл нито?

– Навить…

– Эхма! И лечить-то тебя в дороге нечем. И давно?

– С утра не было.

– Простыл. Должно, сквозняк поймал. Терпи. В Суздаль прикатим –придумаем что-нибудь.

– Течет, сил нет.

– Терпи. – повторил Яков. – И продолжил деловито: инструкцию выдавал:

– Теперь, значит, так… Скоро Суздаль. Как в город въедем – сиди как мышь тихо. В окошко не гляди. Нам надобно, чтоб тебя никто не увидал. Как въедем во двор монастырский – я тебя покрывалом покрою и сведу, куда надобно. Лица не кажи. Молчи, как рыбка. Я тебя за руку поведу, словно девицу. А ты переступай почаще, дабы аще кто увидит – подумал – девку новую привезли на послушание. Все уразумел?

– Уразумел. – ответил Алексей и взял отца Якова за руку и не выпустил уже руки его – пока тот не сказал тихо: «Пришли». И снял с Алексея покрывало.

16

Комната, в которую отец Яков привел царевича Алексея, была невелика, но чисто выбелена, а деревянный пол в ней был свеженатерт воском и просто как огонь горел, отражая, к тому же, свет от четырех новеньких свечей, стоявших в массивном бронзовом канделябре, хотя на улице было еще не темно.

Вышеназванный канделябр стоял на круглом столике, а столик был покрыт чистой парчовой скатертью. У столика друг против друга стояли два мягких удобных креслица: мебель ну никак не подходящая для монастыря.

Оглядевшись, Алексей тотчас же очень-очень хотел в креслице сесть – потому что все тело его, до последней косточки – ныло от усталости, причиненной долгой ездой.

Он оглянулся было на дверь, но Якова Игнатьевича в комнате уже не увидел и вдруг дверь открылась и вошла…ну явно, это была она – вошла его, Алексея, матушка – Евдокия, вот кто.

17

Со времени пострижения её в 1698 году прошло более восьми лет. В тот год сыночку было восемь. Нынче ему идет семнадцатый. Времени утекло много.

В первое мгновение встречи оба явно смешались, потому что сравнивая то, что в памяти обоих осталось от того (или той), кого они любили больше всего на свете, они сходства не находили. Поэтому на лицах у обоих на смену напряженному вниманию пришло почти одновременно недоумение и даже испуг.

Первой опомнилась и взяла себя в руки мать.

– Алешенька,… сыночек мой… – сказала она нежно и протянула к нему руки. Смешавшийся, было, сын тоже пришел в себя. Однако, даже поняв, что перед ним – действительно его мать, продолжал стоять в нерешительности. Перед ним стояла его мать. Это было ясно как день. Но почему тогда она не в черной монашеской одежде? Почему она – в синем шелковом сарафане? Почему на ней душегрейка с оторочкой соболями? Почему у ней на шее крупные янтарные бусы?

До матери, наконец, дошло, почему сын стоит в нерешительности. Уж больно он её рассматривал сверху вниз – смятенно, заметив, что она даже глаза сурьмою подвела…

– Ты же постриглась! – почти, что в ужасе и шепотом из-за мгновенно севшего голоса, спросил Алексей. – А будто на праздник собралась…

Мать показалась растерянной только какое-то мгновение – и тут же лицо её осветилось улыбкою…

– Как есть на праздник! – негромко воскликнула она. – Сына своего вижу живым-здоровым – чем не праздник? Еще какой праздник, Алешенька! Знай и ты теперь, что я тоже жива и здорова, что терплю смиренно и часа своего жду и дождусь…

– Ка… какого часу? – с явным удивлением спросил сын.

– Не всегда мне в монастыре-то сидеть… даст Бог – выйду на волю.

– А обет – как же? – бледнея, спросил сын.

– Меня сюды насильно привезли. Собака Языков привез. И постригли тоже насильно. Я – молчала, ни словечка не сказала. Языков за меня все слова сказывал… Отольются ему слезки мои…Еленой нарекли… Сказали, что, мол, Евдокии больше нет, забудь-де про неё… Как же! – с вызовом продолжила она, адресуясь к двери. – Забыла!… Никого я не забыла! – Ни мужа своего, Богом данного, Великого Государя, ни сына – ангела подлинного! Так что – реку тебе, Алешенька мой, все, всё еще воротится на старое. Мне ведь видение было. Да и монастырские глаголят тако же. Наш час еще пробьет! – Мать даже руку в пафосе вверх подняла, но вдруг заговорила быстро-быстро и, вроде как бы, даже испуганно:

– Ахти, сыночек, деточка моя ненаглядная… не надо бы нам с тобою лясы-то точить. Ехать вам надобно во весь дух в Москву, чтоб никто не дознался, что ты у меня был… Молчи, молчи, как под страхом гнева Божия, молчи, никому, слышишь, никому, что видел меня – не сказывай!

И спросила вдруг будним голосом, хотя и с тревогою, но и с любопытством тоже явным…

– Что это ты носом все швыркаешь?

– Должно, простудился…

– Сильно льёт?

– Изрядно…

– Ах, незадача какая, ведь лечить-то тебя – времени нет, ехать надобно. А у нас бы вылечили скоро. У нас есть старушка-травница – золото, а не старушка… Ты – провожатому-то скажи. Как вернетесь – пусть лекаря позовет… Негоже царевичу носом швыркать…

Поцеловав сына торопливо, несколько раз, для чего пришлось встать на цыпочки и наклонить несколько вниз голову сына, (он уже пугающе потянулся вверх, повторяя отца), мать перекрестила его и исчезла.

Почти потрясенный увиденным и услышанным, Алексей с минуту стоял, как потерянный. А потом…

Потом открылась дверь, в комнату вошел отец Яков; ни слова не говоря, он опять накинул на голову царевича уже знакомое покрывало, взял его за руку, быстро вывел к лошадям, посадил в возок и четверня тут же с места полетела назад в Москву, не останавливаясь нигде более, чем на полчаса, то есть на время, которого хватало только для того, чтобы переменить лошадей. Так, что разговор с матушкой стал отдаляться, а приехав уже домой, сын действительно думал о поездке в Суздаль, как о кратком и ярком видении, которое вряд ли было, а скорее всего, привиделось ему во сне.

18

А насморк царевича стали лечить немедленно. По пути болезнь несколько осложнилась и предстала уже в виде известного нам ОРЗ, а чуть раньше называлась воспалением верхних дыхательных путей. Немедленно были доставлены и заморская корица, и шиповник сушеный, и липа, и калина (в цветах и ягодах высушенных), и бузина, и брусника, и земляника, и малина, и лук с медом, и даже паутинка. Распоряжалась всем лечением тетушка Наталья Алексеевна – энергично и без паники. А немецких лекарей не звали.

Налитый питьем и намазанный, да еще с устатку, царевич хорошо выспался, а утром следующего дня проснулся почти здоровым.

19

Свидание в Суздале было организовано с точки зрения тайных дел, практически безупречно. В Москве очень долгое время никто ни сном ни духом о нем не ведал. Но не напрасно же существует поговорка «все тайное становится явным». Вот и Петр тоже узнал о свидании сына с матерью.

От кого? Сказать трудно. Скорее всего это была ему разовая информация. Потому что если бы в Покровском монастыре сидел постоянный человек Петра, то царь значительно раньше узнал бы, что инокиня Елена ведет совсем не монашеский образ жизни: мирскую одежду носит, часто больной сказывается и посты не соблюдает.

Кто мог предоставить Петру информацию о свидании царевича с матерью?

Кто-то из монастыря?

Вряд ли.

А у автора версия есть.

Читатель же знает, что в Суздале, на монастырском кладбище была похоронена единственная единокровная сестрица царевны Натальи Алексеевны – Феодора, прожившая всего четыре года. Могла ли её помнить Наталья? Вряд ли, конечно…Хотя возможно. Потому что когда Феодора умерла, Наталье было пять лет. Но Наталья – царевна, естественно, по рассказам старших, знала о своей сестрице-подружке.

Отсюда следует, что Наталья Алексеевна очень даже могла уже после свидания племянника с матерью – приехать в Суздаль на могилку своей сестрицы, скорей всего, к четвертому сентября – ко дню рождения и именинам Феодоры. Допустивши это, мы вполне могли бы допустить и возможное дальнейшее развитие событий, а именно то, что Евдокия и Наталья в монастыре увиделись…

Кто из них двоих мог быть инициатором встречи, если она была? Думается – Евдокия. Уж больно ей хотелось узнать хоть что-нибудь о сыне. Как встреча возможно произошла и о чем тогда было говорено – неизвестно. Но думается, что тема Алексея уж точно затрагивалась. Не могла не затрагиваться. Причем она, видно, была затронута так, что царевне Наталье не составило большого труда понять, что мать и сын виделись и виделись недавно.

Попробуем восстановить, или, правильнее сказать – представить версию их разговора. Каким он был? Кратким или пространным? На ходу, на ногах или под крышей, сидя за запертыми дверями?

Давайте предположим, что встреча не была случайной, произошла за закрытыми дверями, а значит, никак не могла иметь место без содействия монастырского начальства – и прежде всего – матери-игуменьи.

Царевна Наталья сидела в креслице за круглым столиком – в той самой светёлочке, в которой зимою повидались Евдокия и Алексей. Сидела покуда в одиночестве. Пять минут назад ее сюда привела сама мать игуменья – высокая, худая, с ясно выделяющимися на лице морщинами, располагавшимися у неё на лице вертикально. Игуменья была из молодых. Не в смысле молодых по возрасту; по возрасту она как раз была немолода. А в том смысле, что недавно пришла в монастырь – каких-то может быть, три года назад тому.

Она была из Нащокиных – из очень богатого и знатного рода. Самый знаменитый – боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин приходился ей дядею. Он умер в 1618 году монахом. Племянница пошла по его стопам. Сделала карьеру. Грамотна и учена была немало. По-латыни знала и по-польски. Игуменьей стала. Именовала царскую сестру «Высочеством».

Какое-то время прошло в ожидании. Вдруг открывается дверь и появляется монахиня с немалою корзинкою в руках, покрытою беленькою чистою холстинкой. Монахиня поклонилась царевне в пояс и стала вынимать снедь, да расставлять на столике, причем Наталья Алексеевна успела заметить, что вся еда была, хотя и постная, но приготовлена великолепно. Яркий, чистый аромат жареного лука, дух ржаного свежего хлеба, узнаваемый по чесночку аромат соленых грибочков – были до того хороши, что Наталье Алексеевне сразу как-то расхотелось скоро уезжать, а захотелось – наоборот – покойно и вкусно поесть, отдохнуть за трапезою и поговорить с каким-нито хорошим человеком.

Монахиня не старалась лицо свое, сразу как явилась с корзинкою, особенно показывать. И правильно, наверное, это… Но царевна приметила и то, что уж очень неловко монахиня снедь на столике выставляла. А как выставила все, и надо было уходить, – не уходила, а будто ждала чего-то. Или, как бы с силами собиралась. И, видимо, собравшись, разом повернулась к царевне лицом. И глаза немигачие свои – не долу опустила, а смотрела на царевну, словно ждала чего-то. Или требовала. Наталье Алексеевне не по себе даже как-то стало. Она и спроси:

– Что ты так-то, на меня, сестричка, смотришь? Будто спросить чего хочешь, а языка лишилась…

И – узнала. Дошло до неё.

– Евдокия Федоровна, ты ли это?

– Я… Только не Евдокия, а Елена…

– Знаю-знаю…Ну, как ты живешь?

– Как? Как в монастыре-то живут…

– А как в монастыре?

– Тоска…

– Ну – тоска… Здесь ты к Богу ближе…

– Ничего не ближе…

– Или – со всеми сестрами не кормишься?

– Да нет… Окормляют меня со всеми вместе. А все одно – тоска…

– Ты – есть хочешь? Садись за стол, поедим.

– Нет. С тобою мать игуменья трапезу делить будет. Сейчас явится. А мне – нельзя. Да и сыта я.

– Ну, хоть присядь, отдохни… ведь настоялась уже поди?

– Нет. Я уже привыкла. Постоим.

– А я вот посижу. Дорога больно тяжела была. Устала. – И оправила платье привычно, улыбнулась вдруг и спросила весело…

– Поговорим?

– Да о чем говорить-то… Ваша воля.

– Чья это наша? – спокойно, отнюдь не сердясь, спросила Наталья Алексеевна.

– Нарышкиных, вот чья. – Сказала эти слова Евдокия коротко и явно злобно.

– Ну не сердись… Нехорошо сердитовать. На все воля Божья…

– Да! Божья… Знаю я, чья это воля…

– Ну-ну… Будет…– Наталья продолжала улыбаться. – Ты лучше скажи: об Алешеньке – думаешь ли?

–Думаю. День и ночь думаю – как он там…

– Ему хорошо. Не тревожься… Ну, а о Государе Петре Алексеевиче думаешь ли?

Пауза.

– И об нём думаю. И ещё много о чем думаю…

– О чем же?

– Думаю, Бог правду знает. И глаза откроет…

– Кому?

– Государю, мужу моему.

– На что?

– Не виновата я вовсе ни в чем. Вовсе.

– А он и знает сие. И знал…

– Ух, немка проклятая…

– А он и немку ныне тоже в дому запер и не велит выходить. Осерчал больно.

– На что?

– Не ведаю.

– Буду Бога денно и нощно молить, чтобы снову оборотил глаза его царские на меня, да на Алешеньку и чтобы от страху сыночка моего избавил…

– От какого еще страху? – подозрительно спросила Наталья, суживая глаза. Приятная беседа кончилась. Начался, в сущности, допрос. И повела его царевна жестко и напористо:

– От какого еще страху? – повторила царевна. Ну-ко, ну-ко…

Евдокия от этих слов заметно смутилась. Но, как могла, взяла себя в руки и ответила, правда едва слышно:

– Я сон видала…

– Давно?

– С месяц, должно…

– Что за сон?

– Будто, кто меня среди ночи будит…

– Ну!

– Открыла глаза – а рядом Алешенька стоит вроде как в саване. Стоит и слезы льет.

– Дальше!

– Слезы льет и говорит: «Добро тебе, матушка, в Суздале за стенками, покойно; а меня батюшка – как не встретит – все ругает ругмя.

– А ты?

– А я и спрашиваю, а за что, мол, батюшка ругает-то?

– А он? – нетерпеливо подгоняла Наталья.

– А за то, что учусь, говорит, плохо. Оттого и гневается, а я де, батюшкиного гнева зело боюсь. Батюшка, мол, может за ленность мою наследства меня лишить…

– А ты что же? – снова нетерпеливо спросила царевна.

– А я ему и говорю: «Учись, Алешенька, хорошенько – вот батюшка милостив к тебе и будет непременно».

– Ну?

– А он – махнул рукою, заплакал опять и… пропал.

– А больше во сне не показывался, нет?

Евдокия замолчала, долу уставя глаза свои. – и ответила снова тихонько:

– Показывался…

– Как показывался?! Речи! Говорил чего, нет?

– Нет, не говорил… Только плакал. И носом все-время дергал. И нос рукавом утирал. – И она заплакала.

Наталья всегда плачущих баб не выносила. Допрос кончился. Мгновенно повеселев, царевна заторопилась:

– Ты прости-прощай, матушка Елена, спешить, спешить тебе надобно; а то скоро мать-игуменья явится, недовольна будет, что родственницы свиделись. А то еще не ровен час братцу отпишет, как я тогда оправдываться стану?

Царевна пыталась шутить.

21

Когда Евдокия (или Елена – как кому угодно будет) вышла бесшумно за дверь, Наталья Алексеевна некоторое время просто сидела и думала. О чем думала? Ну уж во всяком случае, не о том, как бывшая царица мало изменилась и все еще хороша собой. Мина на лице у неё была серьезнейшая. Дело в том, что еще при прощании с Еленою-Евдокиею – царевну словно по затылку хряснули: яркая и ясная догадка сама собою явилась: «А ведь насморк-то у Алешеньки совсем недавно был!..».

Теперь, сидя в кресле, она сосредоточенно развивала догадку:

– Откуда мать о насморке знает? Может, сказал кто? Нет, сказать никто не мог. Из Москвы здесь давно уже никто не бывал… Я бы знала. А если кто и был, значит тайно был… И чего это мать Игуменья Евдокию направила ко мне с корзинкою… Сама Евдокия не могла бы… Надо эту мать пощупать и попугать… Она что-то знает». – И Наталья Алексеевна, почти успокоившись, принялась ждать мать-игуменью.

22

Ждать пришлось недолго. Та стремительно вошла, шумя шелковой сутаной, села напротив, и сделала приглашающий жест:

– Прошу, Ваше Высочество, отведать, что Бог послал.

Стали есть да похваливать – как водится. И вот, среди трапезы, во вполне в бестревожный момент, когда мать игуменья для себя ничего опасного не ожидала, Наталья Алексеевна вытерла ротик свой полотенчиком особым и спросила, по возможности – весело и безмятежно:

– А скажи мне, матушка, что – царевич Алексей Петрович у вас в гостях, часом, не был?

От неождиданного этого вопроса кусок рыбы у игуменьи из руки на скатерку выпал. Началось длительное молчание. И чем больше оно затягивалось, тем больше Наталья-царевна полнилась уверенностью: тут что-то нечисто. И она решилась атаковать в лоб:

– Что затихла, матушка? Отвечай как на духу: был или не был? Ну?

И снова молчание было ей в ответ.

– Не хочешь говорить по доброй воле мне – я вернусь домой и отпишу брату. Сюда приедут люди, которые умеют развязывать любые языки. Любые!

– Я ничего об этом не знаю… – ответила мать-игуменья. И тут же густо покраснела.

Царевна ту красноту немедленно заметила и громко расхохоталась:

– У тебя, матушка, щечки словно огнем заполыхали. Что сие значит – и думать много нечего. Рассказывай! Рассказывай, пока я добрая!

– Я ничего этого не ведаю. А врать мне… Непривычна я врать, Ваше Высочество! Нащокины всегда верой и правдой Отечеству служили, служат и будут служить. А уж, чтобы в заговоры какие влезать – такого николи вовсе не было…

– А зачем же ты Елену ко мне с корзинкою подослала? Уж ли без умысла?

– Был умысел, – тихо ответила игуменья со вздохом. – Думала… Думала я, что снохе и золовке приятно будет увидаться. Вот. А царевича – может и привозили, да только без моего ведома. Я ничего про то – ни сном, ни духом…

– И я не ведаю. – тоже со вздохом сказала царевна. Не ведаю, но проведаю. И ежели что… Ежели ясно станет, что свидание не токмо было, но и мать игуменья ко свиданию тому касательство имела,..то пускай она на себя и пеняет – зачем не донесла? А коли полагаешь, что в свидании сына с матерью никакого греха

нет… То, я чаю, в Преображенском-то приказе не так думают… Чего молчишь?

– Мне кривить душой-то… не пристало, понеже сан духовный ношу. Сроду не… врала…вот как перед Богом… – негромко, но внятно, чтобы царевна эти слова надолго запомнила, отвечала игуменья и перекрестилась, глядя в передний угол, где висели иконы и теплилась лампадка. И слова эти, как видно, для царевны прозвучали правдоподобно, потому что Наталья даже немного смутилась: «А кто его знает, ведала она или нет… Может и не ведала. Ишь ты, как обиделась…Напрасно я так-то грубо… Отец её, или дядя… как бишь его…Афанасий Лаврентьевич – в самом деле, не за страх, а за совесть … хотя… кто его ведал по истине-то… Кровь ведь татарская.

23

Царевна не сразу как узнала о суздальском свидании отписала брату. Не поторопилась. Сделала это только ближе к концу 1708 года. Почему? Она объясняла это тем, что «не хотела позорить Нарышкиных»… Что имелось ввиду? Ввиду имелось следующее: Всем было известно, что в ближайшем круге царевича было немало дальних Нарышкиных. Если бы по письму сестры брат Петр начал бы розыск, то неизбежно выяснилось, что по крайней мере некоторые из этих Нарышкиных знали о свидании и даже не во всем были горячими сторонниками своего августейшего родича – царя Петра. Все это неизбежно подорвало авторитет рода. И Петр это понимал. Поэтому и не открыл тогда розыск по суздальскому свиданию. Но само известие о том, что свидание с матерью было, возвело Петра в последнюю степень озлобления. Озлобление царя против сына было тем более значительным, что до доноса сестры Петра активно убеждали, что с царевичем все обстоит совершенно благополучно. Никифор Вяземский в подробностях описывал царю, что Алексей прилежно учит немецкий язык и географию, после чего (выделена нами – Ю.В.) станет учить французский и арифметику. Сообщал, что царевич и делами государственными занимается тоже – «В канцелярию ездит и по пунктам городовые и прочие дела управляет». Казалось, что все действительно благополучно и отец может быть совершенно спокоен. И вдруг такое письмо от сестры!

24

Петр немедленно вызывает сына к себе. «К себе – это значит в далекую и неведомую Алексею Желкву. Там, в конце 1708 – начале 1709 года была ставка Петра; это – чуть севернее Львова.

Автор не знает, каким был разговор отца с сыном в Желкве. Скорее всего, очень жестким, но наказание за свидание Алексей не получил, а получил множество ответственных поручений и первым делом, поехал в Смоленск – контролировать заготовку провианта и набирать рекрутов для армии.

Сын принимается за дело. Он ясно понимает, что отцовские поручения – это своеобразное испытание; их надо исполнять как можно лучше, чтобы вернуть отцовское благоволение. И еще одно он понимает. Что отец за ним внимательно смотрит. Царевич мотается по подмосковным и северным уездам, собирает рекрут; следит за тем, как свозится в Смоленск провиант для армии. Он тратит в этой работе немалую долю своих сил. Считает, что уже имеет право получить отцовское одобрение, но пути Господни воистину неисповедимы, ибо получает вдруг отцовское недовольное письмо, в котором без обиняков пишется, что сын работает плохо. Упрек звучит ясно:

– Оставя дело, ходишь за безделием…

25

Сын письмом сражен. «Рука отцова… – в отчаянье размышляет Алексей. «Оставя дело, ходишь за безделием»… Что сие значит? Ведь я, все, что о н приказывает, исполняю в точности. Это на меня кто-то напраслину возвел – по злобе… А может он что еще про Суздаль прознал? Так я ему все, как на духу – тогда в Желкве выложил… Как я ему доложился по провианту – через гонца – хвалил и благодарил; а как ему нашептали в уши – всё хорошее забыл. «Ходишь за безделием»… Эх-ма, да ведь у меня редкий час проходит – чтобы без дела. С петухами встаю».

От видимой отцовской неправды Алексея в полон взяла гнетущая обида и держала не один день. А когда полон ослабел, Алексей стал думать обо всем прошедшем поспокойней. И даже обсуждать кое-что с тем, с кем в Суздаль гонял – с Яковым Игнатьевым. Для всех не было ничего удивительного. Набожность царского сына всем известна, что с того, что вечерами царевич зовет к себе близкого человека, и тем паче, священника? Да и сам Яков Игнатьев ходил к нему едва ли не всякий день, вовсе без тревоги. Может, Алешеньке, опять трудно спится… надобно успокоить. Он, Яков, это умел…

26

В тесноватой опочивальне Алексеевой (сын – также, как и отец, побаивался больших помещений) было уже почти темно. В сумерках царевич не велел огня зажигать. Лежал под одеялом, натянув его до подбородка. Когда Яков зашел к нему, ни слова не говоря, без суеты, уселся рядом с кроватью на скамеечку, оправил бороду свою – и спросил:

– Не спится тебе, я чаю, свет мой Алешенька?

Царевич всхлипнул. Яков знал, что такое с ним – признак растущей досады и злобы:

– Зажги огонь! – Яков моментально приказание исполнил и вернулся на скамеечку: он ясно понял, что у Алексея были новости. Не торопя событий, Яков тихо спросил:

– Что, сон нейдет?

– Заснёшь тут…

А вот тут и наступило времечко спросить прямее. И Яков не замедлил:

– Случилось что, душа моя?

– Случилось. Отец письмо прислал.

– Хорошая весть. А что пишет?

Тут Алексей выпростал правую свою руку из-под одеяла. В руке была бумага – отцовское письмо.

– Прочти!

– Позволяешь?

– Позволяю. Чти.

Яков подвинулся к огню и стал про себя честь. Читал внимательно. Закончил. Положил лист на постель рядом с длинной и бледной рукой царевича.

– Что скажешь? – спросил Алексей.

– Трудно сразу…

– Кабы легко было я бы тебя не спрашивал. Продолжил:

– У меня об одном ноне головка болит – спать не могу; знаешь?

– Ох, знаю…

– Вот-вот.. Станет батюшка розыск открывать по свиданию с матушкой или нет… Ты-то – что думаешь?

– Не ведаю…

– Ах, не ведаешь? А кто будет ведать, как не ты? Думай и проведывай! Это тебе надо – в первую голову! Ведь коли отец до чего дознается – то мне беда, а тебе, я чаю, что и похуже будет – кандалы и дыба… Так что думай, проведывай и не ошибись! Ведь это ты меня в Суздаль-то свез и до полудороги не открывал, куда везешь, все врал! А теперь что?

У Алексея хватило ума слова эти не кричать, а говорить, даже, скорее, шипеть – мерно и скушно, но в голосе его было столько тоски и страха, что Якову стало не по себе. И он спросил, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие:

– Ты боишься батюшку?

–Боюсь, Яков… Так боюсь, что и сказать не могу. Как увижу его, так ноги – словно в землю врастают. Двинуть не могу. Во рту сразу сушит и язык к нёбу прикипает. Слова из головы все летят, ничего скрозь сказать не могу.

– Плохо дело. – ответил Яков. – И по обыкновению своему для значительности сделал паузу и лишь помолчав, как водится, стал поучать – не громко, но четко проговаривая слова, зная, что так-то, вот, куда скорее до Алексея доходит:

– Бояться тебе на виду у батюшки никак нельзя. Никак. Он ведь опаслив без меры; как увидит, что трусишь, станет доискиваться до причины, ругать да стращать. Упаси тебя Бог, хоть кого-то назвать. Хоть даже меня. Палачи в Преображенском, сам знаешь, какие – любой заговорит. А ниточка потянется, всех вытащат. Худо будет. Ты помни: покуда царь ничего знать не будет, он тебя в наследниках, как сына своего держать станет по-прежнему. А как узнает… Как узнает, не видать тебе престола, как ушей своих. И еще хорошо, как в живых оставит. А то ведь загонит куда-нибудь… в Пелым, даст на прокорм полтину на неделю – будешь Бога благодарить день и ночь, что в живых оставили. А о нас-то уже и речи не станет.

– А ты… ты, разве не по своей воле в Суздаль-то меня возил? Спросил Алексей и еще подогнал через миг. Ну!

– Как же… по своей. Есть люди… И посильнее и повыше меня, которые о тебе день и ночь пекутся, думают, как тебя оборонить надежно от отцовского гнева.

– И зачем же меня к матушке возили?

– А что б ты матерь свою родную не забыл. А то ведь, поди, забывать стал?

– Да нет…

– А лукавить не след… Сколько лет прошло… Начал, начал забывать. Точно. Вот тебе память-то и обновили!

– А для чего.

– Что для чего?

– Я говорю – для чего обновили?

– Чтобы ты не забыл матерь свою родную…

– Врешь ты все отец Яков. Мне – матерь свою помнить сегодня – всё одно, что во сне медовые пряники кушать. Ведь она много лет, как монахиня. Её из

монастыря воротить – как с того света. Врешь ты все, пес шелудивый. Не в матушке тут дело!

– А в ком?

– В батюшке, я чаю…

– Ну-ко, ну-ко… скажи дробненько, Алешенька…

–А!.. Семь бед – один ответ. Уж ты-то точно с доносом не побежишь…Не побежишь?

– Что ты, Алешенька… Да я, коли час придет, на дыбе смерть приму лютую, а тебя, голубчик мой, не выдам. Так почему в отце дело-то?

– В нем дело-то все только и есть. Для престола меня берегут? Вестимо, для престола, так? Так! А чтобы мне его предоставить, коли час придет, надо либо дождаться пока батюшка… почиет в Бозе, либо…

– Никакого другого либа нету. Нету и нету.

– Есть! Сказать?

– Не надо, Алешенька… Не гневи Бога.

– Стало быть, смерти ждем?

– И об этом тоже ни говорить громко, ни даже думать сейчас много нельзя…

– Неужли, и ты, отец Яков, боишься?

– Боюсь… И ведь только человек, Алешенька. Кости и кожа у меня не железные. Посему надобно ждать. Затаимся так, что шевелиться вовсе не будем Но ведать надобно все. А нынче – более всего надобно ведать. Знает ли батюшка про Суздаль что новое или нет, а коли знает, т о как узнал?

– А как проведать?

– Есть у меня мыслишка…

– Какая?

–Отпиши письмецо…

– Кому?

– А вот тут – подумать надо. Я чаю – лучше всего – тетушке своей Екатерине Алексеевне. Пожалься, что, вот, мол, батюшка в письме на меня гневается сильно, а за что – понять не могу, а дознаться – не у кого. «Явите, – напиши, – божескую милость, если ведаете, отпишите мне, за что, мол, батюшка на меня сердится, а вины за собой я не знаю». Разжалобишь старушку – может, и проговорится. Остальное мы додумаем.

– Мало. – сказал Алексей.

– Чего мало?

– Мало одного письма. Надобно писать и бабушке, Анисье Кирилловне.

– Вот-вот. А она тебя любит, сказывают. Пиши обоим. И слезу, слезу дави, не скупись.

27

И Алексей написал. Одно письмо обоим. Поскольку жили обе старушки в Кремле любезными соседками.

Написал, что, мол, батюшка на меня гневается, а за что – не ведомо. «Прошу вас, пожалуйте, осведомясь отпишите, за что на меня есть государя-батюшки гнев, понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за безделием, отчего я в великом сумлении и печали».

Но тетушка и бабушка – смолчали, как в рот воды набравши. И ясно, почему. Они тоже – как огня – боялись брата и племянника.

28

Безуспешно прождавши два месяца, Алексей написал еще одно письмо – новой жене Петра, которую велено было именовать Екатериною Алексеевною, но про которую многим было известно, что никакая она не Екатерина, а Марта; и роду была чуть ли не подлого.

Подробности ее жизни кого угодно могли повергнуть в изумление, и повергали. Прачка в доме лютеранского пастора, она была «взята на штык» русским солдатом во время штурма Мариенбурга в качестве трофея. Говорили, что она уже была замужем за неким шведским драгуном, но где этот ее муж-драгун, она сказать не могла или вовсе не хотела. Как видно, своим новым положением пленница русского солдата удручена особенно не была, тем более, что у солдата ее выкупил офицер. У офицера – еще один офицер, а уже у т о г о, как говорили, – сам Борис Петрович Шереметев. От Шереметева она и попала к Петру.

К ней-то и написал еще одно свое письмо Алексей-царевич. Известно, что новая жена отца обладала заметным влиянием на царя. Но царь – царем, а ей нужно было еще как-то выстраивать отношения с семьей Петра, и прежде всего – с его детьми – Алексеем и Натальей. И вот – судьба подарила ей возможность – помочь сыну мужа, у которого как видно случились с отцом какие-то размолвки.

29

Екатерина в то время находилась с Петром, Петр же, с армией – на Украине. До Полтавской баталии тогда, в начале 1709 года, оставалось чуть более полугода. Так что поскольку основной театр военных действий определенно переместился в Украину, то и война как бы уже и потеряла право именоваться у потомков «северной».

А на Украине… ну что на Украине?

Несмотря на многие призывы Петра к Мазепе явиться, наконец, со своими казаками к царю, тот один за другим придумывал правдоподобные и

неправдоподобные поводы для того, чтобы затянуть свое явление к Петру с запорожцами. А Петр, понятное дело, ни о какой гетмановой измене пока не подозревал. Для него было совершенно ясно, что несколько тысяч хорошей, даже превосходной легкой конницы главной силой против шведов не станут; главную боевую роль выполнит армия, а участие казаков в войне на территории Украины – это… почти символическое участие! Ну как же запорожских казаков оставить в стороне от боев за родную землю? Вот так. И не более того!

Армия же находилась в то время поблизости от Сум. Стояла большим лагерем. Оттуда, из-под Сум и полетела под Смоленск к сыну строжайшая отцовская депеша, чтобы сын самым скорым образом гнал бы под Сумы всех рекрут, которых к тому часу успел собрать. И сын во главе этой почти толпы, из которой немалое число норовило удрать и удирало при первой же возможности, пошел на Сумы. Поход был нелегким. И люди бежали, и провианту не хватало – кормить новиков. И от воды гнилой многие маялись животами, хотя из больных немало было и тех, которые говорились больными, изо всех сил желая походить на лихорадочных и слабых.

Когда же после изнурительнейшего похода, потеряв немалое число людей беглыми и отставшими, царевич явился под Сумы, отца там уже не было.

30

Отца уже не было, а настоящая лихорадка у Алексея – уже началась. Он лежал в Сумах в домике о пяти окон, в котором жительствовал престарелый одинокий священник, который давно уже перестал служить и жил что называется, на покое.

Тому, что заболевшего русского положили в горнице его дома, он был немало обрадован. Теперь, слава Богу, он не один; в доме постоянно люди. Они не шумят. Говорят вполголоса. И его, старого, кормят досыта и даже лечат. Словом, хозяин дома был доволен донельзя.

Юноша заболел тяжело. Жар держался долго. Алексей часто впадал в забытье. Но вот, что удивительно: едва ему чуть полегчало, его увезли. Говорили, что царь приказал вернуть в Москву. Ну, что же… На то его, Царская воля и есть, чтобы ее исполняли без промедления. Возок с Алексеем на сменных лошадях – быстро довез его до Смоленска. А оттуда до Москвы – это все знают – рукой

подать. Так, вместо того, чтобы повоевать, показать личную храбрость, на что Алексей втайне рассчитывал, он оказался в Москве – где были хорошие доктора, хотя и немцы, где были родственники и близкие, но главное – где не было войны.

31

И опять рядом Яков сидит у постели и тихонечко втолковывает:

– Батюшка велел привести тебя, голубчика, в Москву… Жалеешь? Тебе, я чаю, хотелось бы на глазах отца шпагу обнажить, да на коне скакать, да свист пуль слышать?.. Бог с ней с войною. Там, слыш-ко, стреляют и убивают. Там и до несчастья близко. А тут у нас тихо и покойно. Выздоравливай. Ты не для ратного дела рожден, а для царского. Пусть другие воюют. Пусть Меншиков шпагой машет да Шереметев. Пусть и… государь, если хочет, под пули скачет… – и, наклоняясь к самому уху царевича, зашептал: Авось какая пулька и его достанет… и тогда на Москве новый царь сядет – Алексей Петрович… шутка ли, а? – И засмеялся громко.

– Грех это… – сказал Алексей и закрылся с головой одеялом.

– Где – грех? – спокойно переспросил отец Яков. – Это я так… пошутил. Не бойся. Еще ни один русский царь, али великий князь от пули, али от сабли на поле брани не погиб. От яду, да удавки – да, бывало, а чтобы в битве – нет. Лежи спокойно.

И, потушив свечу, на цыпочках вышел.

32

А через день-два от отца пришло новое письмо. Петр написал его собственноручно, как всегда торопливо, и, не заботясь особо о красивости стиля и грамоте:

«Зоон! Спешу тебе на великих радостях доложиться, что мы здеся ломим зверя на все стороны, и Карлус получил у Полтавы такую конфузию, от которой, ей, николи не оправится. У Переволочны шведы сдалися все. Обоз наш. И пушечки

тоже. Я чаю, что ты уже обо всем слышал и радуешься не меньше нашего. А я за тебя тоже рад, понеже донесли мне, что лихоманка тебя отпускает и ты уже встаешь. Солонинка твоя зело вкусна и солдатики наши едят ее и похваливают. И я отведал и едва язык не проглотил. И рекруты твои – смоляне да тверичи – тоже в аккурат поспели. Мы их развели мелочью по батальонам, где убыль в людях была более. А што зол я на тебя за тех рекрут был, што-де не токмо в гвардию, а и в обозы не годны вовсе по слабости телесной, то прости отца за горячность. И я тебя прощаю – по радости нашей общей великой». И далее отец приписал еще: «Я чаю, ты скучаешь без дела. Читай: все дело, наперед пригодится. А то – отпиши мне, какую тебе книжку прислать для переводу, дабы немецкий али французский укрепить твой. Засим желаю тебе помощи Божией и здравия и остаюсь отец твой навек».

Автор должен признаться, что большая часть письма – вымышлена, кроме того места, где речь идет о книжке для перевода. Но такое письмо царь-отец действительно мог прислать сыну. Я даже думаю, что по письму судя – отец действительно подобрел к сыну: о книжке спросил. Хотя суздальский эпизод должен был насторожить отца. И насторожил. И, наверное, имел бы для Алексея ужасные последствия, но к тому времени у отца вполне созрел план заграничного обучения и женитьбы сына. И то и другое, как наверняка, полагал Петр, смогут оторвать Алексея от старых его симпатий и ханжества. И из сына удастся еще сделать не только наследника, но и продолжателя гигантского отцовского дела.

Петр на это очень надеялся.

33

Такое письмо не могло не обрадовать сына. Но на письмо надобно отвечать. Однако, как только сын берет перо и бумагу – уверенность и радость покидают его. Ибо сам собою, без зова и спроса является батюшка – высокий круглоглазый, с властным горящим и быстрым взглядом, и уже никакого покою нет. Рука начинает дрожать, мысли спутываются в клубок и распутывать его у сына нет никаких сил. И из-под пера появляются нечто путанное, дрожащее и боязливое, чем определенно отец будет недоволен: «Любезный батюшка, получивши письмо твое, где ты пишешь про переводы, спешу отписать тебе, что учиться фортификации по указу твоему начал, также и лечиться. (А лечение – это явно на тот случай, если батюшка будет чем-то очень недоволен. – Ю.В.). И далее: «А что изволишь писать о книжке, какую мне прислать, то я прошу об истории

какой, а иной не чаю себе перевести».

Какую книгу для перевода прислал отец сыну, и прислал ли вообще – автору неведомо. Да и вряд ли все это в тот момент имело значение. Ибо с конца лета 1709 года для Алексея начинается иная жизнь. Совершенно непохожая на ту, которую сын Петра вел до сих пор.

34

А раз так, то самое время подвести некоторые итоги.

Итак.

К лету 1709 года царевичу удалось полностью восстановить хорошие отношения с отцом. Туча, взошедшая на их общее небо в связи с поездкой сына в Суздаль, разошлась. Но некая особая позиция царевича уже определяется. Алексей в первой половине 1709 года конфиденциально пишет Якову Игнатьеву: «Король шведский намерен идти к Москве и от батюшки послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для неприятеля, и буде, войска наши при Батюшке сущия, его не удержат, нам нечем его удержать; сие изволь при себе держать и иным не объявлять до времени и изволь смотреть места, куда выехать, когда сие будет».

Читатель может думать по поводу этого письма, что хочет, а автор думает вот что: это письмо – не что иное как поручение, данное по своей, царевичевой воле и независимо, и даже в тайне от отца. Царевич строил свою линию спасения на случай поражения, которого он, судя по тону и содержанию письма, совсем не исключал.

Хотя внешне все было отлично. На вполне безоблачные отношения отца и сына указывает красноречиво описание триумфальных ворот, воздвигнутых на купеческие деньги в Москве для встречи полтавских победителей. В числе прочих изображений на воротах имелось изображение царевича Алексея Петровича «на орле, царском знамени взлетающего… в большое мужество, имущего же молния на убиваемого льва, знаменующи, яко пресветлый государь-царевич в Отечестве своем быв, уготовлял воинство в чуждую ограду… льва шведского к побеждению посылаше». Тон описания, как мы замечаем, весьма льстивый, который только и может иметь место в отношении почитаемого наследника престола.

Так что, пока все было хорошо.

Часть третья

в ней повествуется о первой поездке царевича Алексея Петровича в Европу, его учебе и женитьбе

1

Гром грянул. Летом 1709 года. Громыхнул страшными раскатами из письма, которое отец прислал сыну. В письме значилось следующее: «Зоон! Объявляем вам, что по прибытии к вам князя Меншикова ехать в Дрезден. Меншиков вас туда отправит, и кому с вами ехать – прикажет. Между тем приказываем вам тако же, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали более к учению, а именно, языкам, которые уже учились – немецкому и французскому, так и геометрии и фортификации, а также отчасти и политическим делам. А когда геометрию и фортификацию скончишь, отпиши нам. Засим управи Бог путь ваш. Vater Peter».

Такое вот письмо. Настоящий гром с молнией. Хотя и невозможно представить дело так, будто Алексей Петрович ничегошеньки о предстоящих переменах не знал. Но уж что совершенно точно – так это то, что он этих перемен не хотел, страшился их, не готовился к ним и потому-то они его так напугали, хотя виду испуганного он, конечно, на людях старался не показывать. На людях надобно было собираться в дорогу и ожидать Меншикова. Только в кругу «своих» Алексей давал себе волю: плакал, даже рыдал, хватал себя за голову, и, не скрывая ужаса своего перед неизбежной уже теперь крутой переменой в жизни, спрашивал – то ли себя, то ли других… «Что же делать? Что же делать? Боже милостивый, что же делать?».

Но вразумительного совета поначалу никто из своих дать не мог. Все дружно вздыхали только. Выхода, казалось, не было.

И вдруг…

В то время, когда приказ отца был получен, но Меншиков еще не явился, – и мелькнула эта идея. Кем она была впервые высказана, Алексей Петрович сказать не мог. Не помнил. Помнил только когда она появилась: аккурат, когда ждали Данилыча. Но раз появившись, она уже никогда, до самого действа из головы царевичевой не уходила, а только силилась, росла и крепла, пока, наконец, не разрослась и не укрепилась настолько, что уже не о чем другом, кроме неё царевич думать не мог.

Он помнил, что сидели в сумерках и огня не зажигали… Кто? Может, Яков Игнатьич был… Не мог не быть, поелику рядом был всегда; Вяземский был, Кикин… А может Кикина еще и не было… Он хорошенько не помнил.

Так, значит, сидели у царевича. Он все вскакивал да садился. Или, вскочивши бегал вокруг стола: «Что делать, да что делать?»…

И вдруг – кто-то, а кто, повторяем, царевич не упомнил, – возьми да и скажи:

– Что делать, что делать?.. А ты – как выучишься – не возвращайся вовсе!

– Как это? – не понял сначала Алексей Петрович.

– А так… Спрячься. Народу там, слава Богу, много…Уезжай куда подале. И всё. И сиди там тихонько. И жди. А как батюшка во Бозе почиет, так ты и объявишься: «Вот, мол, я!».

Наступила тишина. Довольно долгая. И только после неё Алексей тихо ответил:

– Этого не можно. Этого не можно. Это измена. Этого нельзя.

Вот что было сказано. Больше вслух этот вариант еще долго не обговаривался. Но можно с очень большой вероятностью предположить, что вариант этот, повторим, в голове у Алексея Петровича угнездился. Не мог не угнездиться. И не только в его голове. Но и у других в головах угнездился тоже.

2

Петр был постоянно и плотно занят. Так что поговорить с сыном наедине, да еще душевно, – это надо было исхитриться. Да и то – не каждый день выходило. На что уже на это Марта была мастерица – бывали и у неё неуспехи.

Придет, бывало, хотя и в сумерках уже, а царская палатка – светла, как днем. И народу в ней, и накурено – ужас как. Сунется, бывало, а он досадливо ей: «Пошла, пошла прочь, дела у меня, не видишь, что ли?». Не зло, шутливо, но отказывал. И твердо. Бывало, что и заполночь далеко ожидать приходилось, и холод ночной до костей добирался.

Хотя в этот-то раз по-другому вышло. Повезло ей. Петру показали пленного шведского офицера. Допросили при нем. И он, Петр, как видно было, немало хорошего для себя узнал, потому как развеселился, велел принести вина, выпил и шведа пленного попотчевал. К нему-то, к веселому Петру и подластилась Екатерина:

– Можно к тебе, мин херц?

– Можно, можно. Нынче все можно! Входи! Вчера, скажем, было нельзя, а сегодня – можно… Что у тебя, сказывай?

– За перстенечек хочу спасибо сказать…

– За какой перстенечек? А, этот…. Полюбился он тебе?

– Еще как полюбился…

– Ну и носи на радость…

– Я не могу так…

– Как «так»?

– Балуешь ты меня. А тебе… чем я тебе, Великому Государю сподобилась, всего только пасторская прачка и… и драгуниха?

– Ну… И ты меня щедро одариваешь…

– Вы все шутите, Ваше Величество! Радую я вас не часто. Я знаю. Но нынче добрую весть все же принесла. Будете рады.

– Да ну? И чему же?

– Я письмо получила.

– А от кого? От родичей твоих? Так они читать-писать, поди, не умеют… Или как?

– Не от родичей…

– А от кого?

– От сына Вашего…

– От… от кого? – чистосердечно изумился Петр.

– Вот Вы удивляетесь… А не надо бы. Он ведь мой крестный. Вот и написал… крестнице.

– И что написал?

– Вот. – И Екатерина протянула Петру листок.

Петр взял его, и, наклонившись к сильно горевшей свече, стал читать. Потом, наверное, еще раз прочел. Подумал. И сказал, вернее, спросил:

– Просит, значит, осведомиться?

– Вы на него гневаетесь?

– Еще бы!

– За что?

– Э, да что там говорить… Не такого я себе наследника желал бы…

– Чем он-то плох?

– Мамкин сыночек…

– Да ведь он, как есть, еще малый недоросль…

– Все одно плох…

– Время есть еще. Можно поправить.

– Как?

– Навали на него дел всяких-разных поболе.

– Уж наваливал.

– И как?

– Знаешь, ведь. Везти – везет, но без охоты рьяной.

– Мал еще. Слабенький. Ты сам и сказал – мамакин сыночек… А ведь мать-то его, я знаю – в монастыре.

– В монастыре. В Суздале. В Покровской обители. Уже одиннадцать лет там…

– А сколько Алексею было, когда ее постригли?

– Сколько? Пять, что ли. Не помню уже…

– А ведь он её помнит…

– Вестимо, помнит. А теперь, вот, будет помнить еще крепше. Его не так давно в Суздаль к ней возили, говорил я тебе?

– Говорил.

– Тайно от меня, отца. Оттого и гневаюсь на него, что не сказал.

– А он, я чаю, и не ведал, куда его везут.

– Не ведал. В дороге только сказали.

– Значитца, и вины на нем нету.

– Нету? А почему мне тотчас не отписал? А запирался отчего?

– А кто возил, знаешь?

– Возил-то знаю кто… Да он-то так – трус и только. Сказал, что сам по своей только воле и повез.

– Врал?

– Врал. Вестимо, врал. Да и не он мне нужен. Другие. Которые ему приказали.

– Ну и вели его свезти в Преображенское. Пусть его там тряхнут как следует.

– Вот спасибо! Надоумила… А ведь как я его возьму, другие попрячутся так, что днем с огнем не сыщешь. Нет. Надобно потихоньку. Всех прознать, а потом уже разом и брать. Однако, не беда. Возьмем, дай срок. Беда в другом.

– В чем же?

– Другого наследника у меня нет. То и горе. Кабы был у меня на замену еще сынок, по-другому все было бы. Хоть какой. Хоть даже и младенец… Тогда, может, и Алешка был бы другим. Эх!

И столько тоски было в этом царском «Эх», что Марта-Екатерина даже вздрогнула. Но скоро взяла себя в руки и, подсевши к Петру, стала гладить ему голову, перебирать волосы, успокаивать. И успокоила. Повелитель уснул. Тогда

она выглянула из палатки и показала часовому-преображенцу знак: приложила указательный палец к губам – тихо, мол, царь почивает и, воротившись к Петру, легла, свернувшись калачиком на денщицком месте – у Петра в ногах. И уснула. И не стала спрашивать – куда девался денщик государев. «Коли нужно станет – разбудит, да и все»…, решила она, засыпая.

3

Между тем – Александр Данилович Меншиков находился уже совсем недалеко от Москвы. Поручений царских у него было немало. Наиглавнейшим делом считалось доставление в Москву в целости огромного обоза шведских трофеев, взятых частью под Полтавой, а большею частью – под Переволочной.

В обозе том было много всего: пушки, масса строевых и обозных лошадей, много зарядных ящиков, большое число грузовых повозок и фур, а в них:
и обмундировка солдатская, и ружья, и шпаги, и пистолеты, и штандарты армейские шведские, и хоругви мазепинские… Все это тянулось нескончаемой чередой. Так что бывший в голове обоза Александр Данилович, к радости своей, как ни силился – хвоста обозного не видел. А ведь немалая часть трофеев была оставлена в наших частях и стала русским военным имуществом – к примеру – солдатская обувь или свинец оружейный.

4

Александр Данилович повсему-поэтому не просто был доволен. Его буквально, распирало от радости. Оттого-то, когда наутро, по прибытии в Москву, он завтракал вместе с Алексеем в своем московском доме, – завтракал вполне по-европейски, с салфетками и лакеями за спиной, улыбку он и за столом не унимал: она красовалась на его лице, как явное свидетельство полной и не проходящей радости. Однако, в конце уже обеда радость на лице его вдруг вспыхнула так, словно и без того яркие угли в костре полыхнули ярким пламенем.

– Имею царское для сына повеление! – сказал он громко и значительно.

– Какое? – не скрывая страха, спросил Алексей.

– Готовься, Алешенька, в дорогу!.. Да не бойся ты… Новую жизнь начинаешь, понимаешь? Надлежит тебе в скорости ехать в саксонский город Дрезден. Царь-батюшка велит тебе учиться в этом… как его… в уни… в универси… в университете – вот! Грамотеем станешь! Чего дрожишь… Радоваться надо! Ведь сие для тебя – не новость? Ведь он – тебе об сем писал? Писал, нет?

– Ну писал…

– Стало, ты об сем ведаешь?

– Ну ведаю…

– А коли ведаешь, и все это для тебя – не новость, давай тогда по-военному. Три дни тебе на сборы даю. Люди поедут с тобой – самые лучшие! Чего нюни распустил? Ты – самого-самого еще не ведаешь. – И Меншиков сделал нужную паузу. – Как узнаешь – слезы сразу высохнут… Держи нос кверху!.. Женишься ты, понял, нет? Батюшка тебе невесту сыскал! Да ты не рад, что ли? Не рад? В жизни не поверю! Чё молчишь?

– У меня своей воли нету. – Как батюшка скажет. – тихо ответил Алексей.

– Истинно так и есть! – сказал Меншиков. – Все мы суть рабы Его Величества; что он велит, то мы исполняем. Посему – ехать тебе, Алексей Петрович в Дрезден немедля. И поедешь ты не один. С тобою ближними будут двое: князь Юрий Юрьевич Трубецкой и молодой граф Александр Гаврилович Головкин. Ясно тебе? Ты, может, спросить захочешь – почему этих, а не иных господ с тобою посылают? Так отвечу. Персон сих батюшка твой одобрил вполне. Ибо считаются оне за честных и обученных и благородных, способных хранить и исполнять все то, что отношение к славе государственной и к особенному интересу его Величества имеет. Далее. Они будут с тобою неотлучно. И спать будут в одной комнате с тобою, и есть, и пить. И на учении сидеть станут, и гулять с тобою – охранять тебя. Буде же захочется тебе вина али пива выпить – выпьют с тобою и вина и пива. Но допьяна тебе набираться зельем не дадут. На то им строгий приказ даден. Внемли такоже: волю твою сполнять будут прилежно, но от негодных действ удерживать такоже всесильно, и на благую стезю направлять тебя с тщанием, елико возможным. И писать от себя им указано – хорош ты али плох там будешь…

Меншиков засмеялся вдруг весело и хлопнул Алексея по плечу легонько – меру знал…

– Чего загрустил? Печалиться тебе не след. Кажный час должон ты помнить и не забывать николи, что батюшка тебя в преемники готовит. Посему и должон ты волю отцовскую исполнять в точности. И чем прилежней ты станешь учиться, и тем самым ко венцу царскому себя готовить, тем больше от батюшки милостей иметь будешь. А ныне батюшкина к тебе милость да любовь воистину безмерны. Ведь вот он и невесту тебе сыскал высокой крови, герцогиню немецкую. Она – девица образованная, языки знает, политесу в тонкости обучена. А хорош ли ты будешь, коли на пальцах с ней объясняться станешь, да за столом сопеть, да в танцах ей на ножки наступать? Нехорошо… нехорошо будет…

– Да что ты, Александр Данилыч – все одно и то же мне долдонишь: нехорошо, да нехорошо… Я и сам знаю, что мне делать надобно! – с резкою досадой сказал Меншикову царевич. – У меня и в мыслях нет, чтобы батюшку ослушаться. Приказал он мне учиться в этот… Дрезден ехать – поеду и стану учиться. А прикажет: «женись, на ком скажу» – женюсь, на ком скажет, безропотно. Будь она хоть даже страшилище морское.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/vylegzhanin_yuriy/otec-i-syn

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити